ВОЙНА
И ВОЕННОЕ ИСКУССТВО
В СВЕТЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА

СБОРНИК СТАТЕЙ

Д. Б. РЯЗАНОВА, Б. И. ГОРЕВА,
Р. С. ЦИФЕРА, А. А. СВЕЧИНА
и М. Н. ТУХАЧЕВСКОГО

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
Б. ГОРЕВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

СССР Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВОЙНА И ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В СВЕТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА

СБОРНИК СТАТЕЙ

Д. Б. РЯЗАНОВА, Б. И. ГОРЕВА,
Р. С. ЦИФФЕРА, А. А. СВЕЧИНА
и М. Н. ТУХАЧЕВСКОГО

С ПРИЛОЖЕНИЕМ ОТРЫВКОВ И СТАТЕЙ ИЗ
МАРКСА, ЭНГЕЛЬСА И ЛЕНИНА

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
Б. ГОРЕВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ОТДЕЛ ВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1927 ЛЕНИНГРАД

ДИГИТАРИЗАЦИЯ
2008

ЕГ165 р
В363
289667

992
27
1984

БИБЛИОТЕКА
ИМЭЛ
Спец. фонд

Гиз № 19482
Ленинградский Гублит № 39783
13 л. Тираж 3.000

ОТ РЕДАКЦИИ.

Вопросы, связанные с войной и военным делом, испытали ту же судьбу, что и вопросы пролетарской революции. Если во второй трети XIX в., в эпоху войн и революций в Европе, эти вопросы глубоко интересовали всех революционных социалистов (напр., Бланки), и особенно основоположников научного коммунизма Маркса и Энгельса (и не только с практической, но и с теоретической стороны), то в эпоху II Интернационала эти вопросы отошли на второй план, иногда казались даже сданными в архив истории. Развитие империализма вызвало к жизни новую эпоху войн и революций. И если вопросы революции, благодаря гению Ленина и Октябрю, получили глубочайшее освещение, глубочайшую теоретическую и практическую проработку, то этого нельзя сказать в полной мере о войне (хотя и здесь Ленин своими статьями о мировой и гражданской войне внес огромный вклад). Война и все связанные с нею проблемы *стали не только в порядок дня всемирной истории, но и в порядок дня марксистской теории.* Один из величайших факторов истории человечества должен стать предметом пристального изучения со стороны марксистов.

Предлагаемый читателю сборник и ставит своей задачей посильно послужить этой цели. Он имеет в виду не только военную учащуюся молодежь, но и студентов наших гражданских вуз'ов, которым он поможет включить вопросы войны в изучение исторического материализма и вместе с тем послужит теоретическим подспорьем в той военизации, которая проводится ныне в ваших вуз'ах.

Что касается материала, входящего в сборник, то первые две статьи являются популярным введением к следующим затем статьям военных специалистов и к данным в приложении отрывкам из Энгельса, Маркса и Ленина. [1]

Из них статья Д. Б. Рязанова была уже напечатана. Остальные статьи — в настоящем своем виде — появляются в печати впервые.

Б. Горев.

---

[1] Это „Приложение“ и примечания к нему составлены преподавателем историч. материализма в Военной Академии — С. Ф. Васильевым и пишущим настоящие строки.

Д. РЯЗАНОВ.

ВОЕННОЕ ДЕЛО И МАРКСИЗМ.

(Доклад на Всесоюзном съезде военно-научных обществ 9 марта 1926 г.)

I.

Товарищи, мой доклад посвящен марксизму и военному делу. Может показаться странным, что на девятом году существования пролетарской власти приходится ставить вопрос, имеет ли право марксизм вмешиваться в военное дело. Марксизм справился с царским режимом. Марксизм как-никак справился с задачей — восемь лет править огромным государством в условиях капиталистического окружения. Но марксизму все еще ставят вопрос: имеешь ли ты право вторгаться в область военного дела? И если имеешь право, то в какой степени, в каких размерах и на какой дистанции? Где хорошо смазанные сапоги противопоставляются марксизму, конечно, плохому, там перед хорошим марксизмом раскланиваются так же почтительно, как перед так называемыми почетными членами организации, которые, как известно, в ее действительной работе не принимают никакого или очень мало участия.

Так что же такое марксизм? Ответив на этот вопрос, мы тем самым ответим на вопрос, приложим ли марксизм в военном деле.

Марксизм представляет собой алгебру, скажу проще, грамматику общественной деятельности. Марксизм выдвигает ряд основных пунктов, которые резко отличают его от всех других теорий, пытающихся объяснить общественные явления. Но есть и такие пункты, в которых он сходится с другими теориями.

Марксизм прямая противоположность идеализму. В этом пункте он сходится с философским материализмом. Вместе с последним он отрицает какое бы то ни было вмешательство всяких потусторонних факторов в окружающую нас действительность. Кто хочет понять природу, тот не должен прибегать

к помощи бога, сверхъестественных сил, тот не должен при объяснении этой природы искать каких-либо других факторов, кроме тех, которые заключаются в ней самой. Повторяю, в этом отношении марксизм сходится со всяким материализмом, ибо отличительная черта последнего состоит в том, что он подчеркивает необходимость исключения при объяснении явлений природы всяких сверхъестественных сил, в какие бы формы ни облеклись эти силы: религиозные, метафизические и т. п. Природа не создана, не сотворена каким-либо божеством, она не представляет порождения духа или идеи.

„Чувственные, наглядные впечатления, — говорит Клаузевиц, — воспринимаемые во время исполнения, гораздо живее тех, на которых мы остановились предварительно путем зрелого размышления. А между тем эти впечатления дают лишь первоначальные очертания, которые, как мы знаем, редко вполне соответствуют сущности явлений. Отсюда — опасность принести зрелое обсуждение в жертву первому же призраку“.

Это меткое замечание верно не только в области военного дела. *Видимость, призраки* застилают от нашего умственного взора *действительность*. Но, признавая это различие между *видимостью* и *действительностью*, различие, которое объясняется несовершенствами человеческого „здравого смысла“, марксизм настаивает на том, что необходимо исследовать ту призрачную закономерность, которая бросается в глаза на первый взгляд, и установить внутреннюю закономерность самой действительности. Только исследуя эту *действительность*, можно понять и ту *видимость*, в которую она облекается в человеческих глазах. Но этого мало. Действительность, природа и человек, не есть нечто извечное, это не готовый предмет, а нечто изменяющееся, развивающееся.

Отличие марксизма от обычного, естественно-исторического материализма состоит в том, что он — материализм *диалектический*. Действительность он рассматривает — во всех ее разделах — не в состоянии покоя, не в состоянии застоя, а в состоянии постоянного движения и перемещения. Нет ничего устойчивого, нет ничего неизменного — все движется, все изменяется. И если нам кажется, что существуют *прочные, неизменные предметы*, то это только видимость: внутри этих предметов совершается процесс непрерывного изменения, разрушения, процесс, который можно заметить только при помощи более

усовершенствованных орудий наблюдения, чем человеческое зрение и осязание.

Вот этот стол, так прочно стоящий, за которым прочно сидит президиум, движется не только вместе с уважаемым президиумом, не только вместе с этим залом. Вся эта устойчивость только *видимая*. Но этот зал и все в нем находящееся пребывают не только в состоянии постоянного движения, не только перемещаются в пространстве, но и подвергаются непрерывному процессу изменения, разрушения.

Мы не всегда в состоянии своими глазами констатировать процесс разрушения, который происходит в этом столе, в этом зале, но он происходит. Всякий хозяйственник, всякий интендант, который будет исходить из того, что столы, винтовки, казармы, укрепления и т. п. прочны и постоянны, рискует в один прекрасный день остаться у разбитого корыта.

Все искусство хорошего хозяйственника, организатора военного хозяйства, состоит в хорошем знании всех фактов, при наличии которых нужная нам материальная часть, находящаяся в непрерывном процессе изменения, в течение определенного периода сохраняет определенную связность, делающую ее пригодной для определенных практических целей. Когда мы говорим об анализе данного предмета, мы должны помнить, что в каждом предмете происходит борьба, война различных физических и химических свойств, соединением, сращением которых он является, что каждый предмет находится в определенных условиях времени и места. Только тот, кто забывает этот основной пункт, впадает в порок, в котором часто обвиняют так называемых теоретиков. Истина всегда конкретна. Она дается только изучением действительности, она предполагает знание условий времени и места, в которых изменяются и развиваются предметы и явления.

Я не могу останавливаться здесь на всех различиях между формальным и диалектическим мышлением. У нас в последнее время много говорят об отличительной черте марксизма, о диалектическом методе, к сожалению, и теперь многие еще смешивают диалектику с эволюцией. Это склонны делать и многие представители военно-научной мысли, которые стараются усвоить себе основные идеи марксизма. Чтобы лучше выявить важнейшие черты диалектического метода, отличие диалектики от эволюции, я познакомлю вас с блестящей харак-

теристикой диалектического метода Маркса, которую дает в недавно опубликованной рукописи Ленин.

„В наше время идея развития, эволюции, вошла почти всецело в общественное сознание, но иными путями, не через философию Гегеля. Однако эта идея в той формулировке, которую дали Маркс и Энгельс, опираясь на Гегеля, гораздо более всестороння, гораздо богаче содержанием, чем ходячая идея эволюции. Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе („отрицание отрицания"), развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии; — развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное; — „перерывы постепенности"; превращение количества в качество; — внутренние импульсы к развитию, даваемые противоречием, столкновением различных сил и тенденций, действующих на данное тело или в пределах данного явления, или внутри данного общества; — взаимозависимость и теснейшая, неразрывная связь всех сторон каждого явления (при чем история открывает все новые и новые стороны), связь, дающая единый, закономерный, мировой процесс движения, — таковы некоторые черты диалектики, как более содержательного (чем обычное) учения о развитии".

Кто овладел этим методом, кто стал диалектическим материалистом, тот имеет в своем распоряжении самое могучее орудие для исследования предметов и явлений природы и общества. Повторяю, марксист не может не быть материалистом, но еще мало быть материалистом, чтобы стать марксистом. Достаточно указать на многих естествоиспытателей, которые умудряются быть материалистами, поскольку речь идет о природе, и остаются чистейшими идеалистами во всех других отраслях. Они могут даже иногда приближаться к диалектическому материализму, но пока они его применяют только при исследовании явлений природы, пока они отказываются понять, что этот метод исследования распространяется на все области действительности, на природу и общество, они закрывают себе путь к пониманию всей действительности. Марксистом может быть только тот, кто является диалектическим материалистом и в области исследования всех общественных явлений. Естественно-исторический матерализм даже в той форме, в которой он больше всего приближается к диалектическому, оказывается совершенно беспомощным как раз тогда, когда ему удается,

казалось бы, решить загадку происхождения природы и человека. Законы развития природы и животного мира не тождественны с законами развития человеческого общества.

У человека есть общее с природой, он — часть этой природы, но природа была раньше человека, материя была раньше „духа". Только на известной ступени развития этой природы, только на известной ступени развития жизни на земле, биологического мира — растительного и животного — появилось в мире четвероногих новое животное, научившееся ходить и стоять на задних лапах — даже там, где это не нужно, — существо весьма драчливое и жадное, которое вело упорную борьбу за свое существование. Это существо — человекообезьяна или обезьяночеловек — в процессе долгого развития из четверть-человека, получеловека превратилось, наконец, в человека и заняло особое место в иерархии животных видов. Естественно-исторический материализм, в его откровенной форме или в стыдливой (в которую он облекается в дарвинизме), объясняет нам, как элементы самой природы, без всякого вмешательства сверхъестественных сил, на известной ступени развития сложились в „венец природы", образовали „новый тип".

Но мы с вами прекрасно знаем, что человек человеку рознь. Если мы возьмем наш Союз не только в его историческом прошлом, но и в настоящем, то мы в нем найдем самых разных человеков: кубанский казак, донецкий углекоп, курский мужик, путиловский слесарь, московский текстильщик, советский служащий. В человеческом обществе имеются только такие „природные" различия, как различия по полу и возрасту. Все остальные различия создаются только определенными общественными условиями. Люди облекаются в различные общественные формы. Вы прекрасно знаете, — об этом сказано в первом томе „Капитала", — что если с генерала снять форму, то часто теряется весь генерал.

Если мы возьмем теперь людей на протяжении всей истории, — даже если мы ограничимся людьми одной только белой расы, — то мы увидим, что они облекаются в самые различные национальные и классовые формы — англичане, французы, немцы, русские, поляки, феодалы и крепостные, помещики и крестьяне, капиталисты и рабочие. Чем объясняется возникновение этих различий среди людей? Может-быть, их анатомо-физиологическими особенностями?

Конечно, есть более или менее способные, более или менее сильные, более или менее храбрые люди, но всякие природные преимущества, поскольку они лежат в анатомо-физиологических особенностях данного человека, имеют только ограниченную сферу влияния. Решающее значение при образовании человеческого характера, его идеологии, имеет воспитание, среда, которые сами непрерывно изменяются в ходе истории. Непосредственное влияние природы все больше уступает место непосредственному влиянию общества.

Как только в области природы появляется человек, он начинает в свою очередь воздействовать на природу. Вся история превращения наших предков человеко-обезьян в человеков сводится к „покорению сил природы", выражается в непрерывном изменение самой природы человеческим трудом. Или, как говорит Маркс:

„По отношению к веществу (материи) природы человек сам выступает, как сила природы. Он приводит в движение естественные силы своего организма, руки, ноги, голову, чтобы присвоить себе вещество природы в такой форме, которая была бы пригодна для его собственной жизни. Действуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет и свою собственную природу. Он развивает дремлющие в последней силы и подчиняет игру этих сил собственной власти".

Но человек воздействует на природу не в одиночку, а сообща, в пределах данной общественной организации. Спасибо бабушке-биологии за то, что она передала нам из животного мира человека в качестве общественного животного, привыкшего жить стадами, ордами.

Тут я позволю себе опять процитировать Маркса.

„В производстве люди вступают в отношения не только к природе. Они не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. *Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только через посредство этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство.*

„В зависимости от того или иного характера средств производства изменяются, конечно, и общественные отношения,

в которые производители вступают друг к другу, изменяются условия, при которых они обмениваются своей деятельностью и участвуют в совокупном производстве. С изобретением нового орудия войны, огнестрельного оружия, необходимо должна была измениться вся внутренняя организация армии, должны были измениться те отношения, на основании которых отдельные личности сплачиваются в армию и могут действовать, как армия, равно как и взаимные отношения различных армий.

„Следовательно, общественные отношения, при которых люди занимаются производством, *общественные отношения производства изменяются, преобразуются с изменением и развитием материальных средств производства, производительных сил. Отношения производства, в своей совокупности, образуют то, что называют общественными отношениями, обществом, образуют общество, находящееся на определенной ступени исторического развития,* — общество с своеобразным отличительным характером“.

Характерно, что Маркс приводит иллюстрацию именно из области военного дела, чтобы показать зависимость между организацией общества и степенью развития производительных сил.

Итак, воздействие человека на природу происходит через общество, предполагает определенную форму общественных отношений. Каждое общество является продуктом истории. На известной ступени исторического развития человеческие общества, вначале бывшие однородными, распадаются на классы, господствующие и подчиненные, эксплоатирующие и эксплоатируемые. Вся человеческая история, с известного момента, есть борьба классов. Великая французская революция выявила эту основную пружину человеческой истории в таких ярких драматических формах, что после нее и буржуазные экономисты и историки должны были признать и наличие классов, и их борьбу между собой.

Но только марксизм впервые объяснил, что существование классов связано с определенными историческими отношениями производства, что капитализм порождает с одинаковой необходимостью буржуазию и пролетариат, что борьба между этими классами неизбежно приводит к диктатуре пролетариата, побеждающего сопротивление эксплоататоров, что эта диктатура пролетариата представляет необходимый переходный момент

в процессе превращения капиталистического строя в коммунистический, что, овладев государственной властью, пролетариат использует ее только для превращения классового общества в бесклассовое.

Итак, резюмирую: можно быть материалистом, не будучи марксистом, но нельзя быть марксистом, не будучи материалистом. Марксизм есть только самая последовательная форма материализма, изгоняющая философский идеализм из всех углов и закоулков действительности. И природу, и историю он рассматривает, как процесс непрерывного изменения, и в своем анализе старается вскрыть происходящую и в той и в другой борьбу, — войну элементов, сил, классов. Именно то и отличает *диалектический* материализм Маркса и Энгельса, что он одинаково распространяется и на природу, и на историю человеческого общества.

Марксизм по самому существу своему — учение теоретическое и практическое: он не ограничивается тем, что хочет понять мир, он старается изменить этот мир при помощи сил, развиваемых этим миром. В отличие от мирных теоретиков развития, от ученых постепеновцев, он доказал, что революции представляют необходимый момент развития человеческого общества. Он поэтому и в теории, и на практике глубоко и безоговорочно революционен.

II.

Мы имеем теперь, товарищи, все основные элементы для ответа на занимающий нас вопрос. Военное дело, военное искусство, это — совокупность тех навыков, умений, знаний, которые необходимы при ведении войны. Вы прекрасно знаете, что военная история, что история войны представляет собой один из важнейших разделов в истории развития человеческого общества, в истории развития классовой борьбы внутри общества и конкурентной борьбы между господствующими классами разных наций. Точно так же, как война во внешней политике есть продолжение этой политики *другими средствами*, так и гражданская война в области внутренней политики есть продолжение классовой борьбы *другими средствами*. Войны, внешние или гражданские, это — явления социальные, происходящие только в определенной общественной среде; формы и цели

их можно объяснить только путем изучения той общественной и исторической среды, в которых они происходили и происходят, путем исследования тех определенных условий времени и места, которые накладывают на них свою печать. Нужно ли прибавлять, что наиболее надежным руководителем может служить при этом только марксизм?

Война ведется государством, при помощи всей государственной машины, всего государственного аппарата. Государственная власть, это — орудие, при помощи которого господствующий класс держит в подчинении эксплоатируемые классы. Но государство не есть только орудие угнетения и подавления. Характерная черта той гигантской, простой и сложной кооперации, которую представляет собою данное общество, данное государство на данной территории, состоит в том, что эта кооперация порождает огромное количество силы, энергии, которое никогда не является простой суммой отдельных индивидуальных энергий, точно так же, как, говоря словами Маркса, „сила натиска кавалерийского эскадрона или сила сопротивления пехотного батальона существенно отлична от суммы индивидуальных сил натиска и сопротивления, которые могли бы оказать отдельно взятые кавалеристы и пехотинцы“. Всю эту огромную общественную энергию, всю эту сумму народных масс, — живую и материальную, — создаваемую общественной кооперацией, но которую в первую очередь поглощает государство, — всю эту силу господствующий класс, т.-е. класс, в руках которого находится государственная власть, использует в своих целях, чтобы преобразовать все общество, чтобы создать новое общество „по своему образу и подобию“.

Господствующий класс, который умеет только подавлять и сокрушать, обречен на более или менее скорое исчезновение. Старое прусское юнкерство умело использовать в своих интересах не только силы трудящихся масс, но и энергию прусского бюргерства. Английская буржуазия и до сих пор располагает не только собственными силами, но и силами таких огромных масс, как английское мещанство и рабочая аристократия в самой Англии и многомиллионные крестьянские массы в колониях. Вся военная организация, организация обороны страны, определяется структурой государства, ее цели и задачи диктуются целями и задачами класса, организацией господства которого является это государство.

Нечего говорить, что одной из важнейших задач и нашего советского государства является использование всех огромных сил и энергии, которые порождает, как результат общественной кооперации, наша страна. Конечно, советское государство, т.-е. организованный в качестве господствующего класса пролетариат, имеет огромное преимущество в том отношении, что оно может применять по отношению к трудящимся массам минимум принуждения, что оно может опираться на крепкий союз с многомиллионным крестьянством. Отражением этих специфических особенностей советского государства является и организация рабоче-крестьянской армии, как одной из важнейших частей этого государства.

Стоит ли опять подчеркивать, что марксизм является наиболее надежным руководителем во всех этих вопросах?

В последнее время, в связи со спорами о преимуществах той или иной стратегии, в военно-научных аудиториях сделана была попытка противопоставить бурностремительному и наступательному бланкизму более „уравновешенный“ и оборонительный марксизм. Такое противопоставление основано на недоразумении.

Марксизм никогда не отрицал громадной роли, которую играет в истории политика, сила, война. Он только исследует условия, которыми вызываются различные формы этой политики, и приходит к заключению, что основные причины изменения этих форм лежат в различных формах экономики, в различной классовой структуре данного общества. С точки зрения марксизма, политика, сила, война есть не только результат экономики, но и могущественное орудие воздействия на экономику. „Сила, — говорит Маркс, — всегда служит повивальной бабкой старому обществу, которое бывает беременно новым. Сама сила есть экономический деятель“.

Не тем отличается марксизм от бланкизма, что он отрицает значение силы, насилия, а тем, что в организации этой силы, в организации восстания и революции, он опирается на определенный класс и, руководя процессом революционной организации этого класса, всесторонне анализирует социально-экономические условия, создающие и обеспечивающие диктатуру рабочего класса в переходную эпоху от капитализма к коммунизму. Маркс и Энгельс никогда не были пацифистами ни в области внутренней политики, ни в области внешней политики.

„Только при таком порядке вещей, — писал Маркс, — когда не будет больше классов и классового антагонизма, *социальные эволюции* перестанут быть *политическими революциями*. До тех же пор, накануне каждого полного переустройства общества, последним словом социальной науки будет: *война или смерть, кровавая борьба или уничтожение. Такова неотразимая постановка вопроса*".

И так же беспощадно, как он бичевал пацифистские иллюзии „мирных" социалистов, Маркс критиковал пацифистские иллюзии буржуазных мыслителей, мечтавших об устранении войны, как средства конкурентной борьбы различных наций.

„Было бы большой ошибкой, — пишет Маркс, — предполагать, что „евангелие мира" манчестерской школы имеет сколько-нибудь философское значение. Оно целиком сводится к тому, что феодальный метод ведения войны должен быть заменен торгово-промышленным, что место пушек должен занять капитал".

Политика, это только концентрированная экономика. А война есть продолжение политики, но только другими средствами. И опять-таки только марксизм дает нам наиболее надежное орудие при изучении и исследовании всех вопросов экономики и политики.

Мы переходим теперь к военному делу в тесном смысле этого слова. Может ли итти речь о марксизме в этой, преимущественно практической области? Ведь еще до сих пор продолжается спор, представляет ли военное дело науку или искусство.

Такая постановка вопроса встречается и в писаниях марксистов. Но она все же в корне ошибочна. С таким же правом можно было бы спросить этих марксистов: что такое революционное дело — искусство или наука? Можно ли говорить о марксизме в революционном деле?

Во всяком деле, во всякой области человеческой деятельности необходимо применять научный метод. Поскольку мы не хотим быть беспомощными жертвами голого эмпиризма, поскольку мы не хотим подчиняться „пошлому опыту", — так было, так будет, — мы должны всю нашу практику пропитать теорией, мы должны во всякое общественное дело вносить науку. Здесь, за столом президиума, сидят мои приятели разной степени теоретичности, но все они гордятся тем, что

в отличие от других революционеров были *научными* социалистами, стремились внести в революционное дело максимум научности. Что это стремление не всегда венчается успехом, это — другое дело, но заранее отказываться от онаучивания данной деятельности не приходится.

Вся история науки показывает, как она завоевывала одну сторону действительности за другой. Было время, когда науку и на выстрел не подпускали даже к объяснению природы. После долгих лет упорных усилий и стараний, даже мученичества, наука завоевала себе право исследовать все явления природы. Наступила эпоха расцвета математики и естествознания. Все, что выходило за пределы этой области, продолжало оставаться в ведении религии или философии; поскольку же речь шла о различных отраслях человеческой деятельности, то в лучшем случае все эти „дела" повышались в ранг ремесла или искусства. Такое разделение упрочилось настолько, что и теперь еще среди наук имеются „настоящие" и „ненастоящие", точные и неточные. Ученые представители физико-математических наук с аристократическим презрением смотрят на представителей всех остальных „наук" — общественных и даже медицинских. Но эти ученые забывают, что их отрасли знания не с самого рождения были науками, что потребовалось не мало времени и борьбы, пока накопившиеся в их ведении навыки, умение, знания были онаучены, возведены в ранг науки. Нет никаких прочных, неизменных разделов между обыденным мышлением, знанием, наукой. Только метод отличает науку от не-науки. Предметом ее является вся действительность во всех ее многообразных проявлениях. Для нее нет возвышенных и низменных предметов. Для нее нет и не может быть также никаких запретов. Чем сложнее предмет ее исследования, чем больше количество и разнообразие факторов и сил, результатом которых он является, тем труднее онаучивать эмпирическое знание этого предмета. Но было бы смешно заранее отказываться от такой задачи. Во всякую отрасль человеческой деятельности надо стараться внести максимум научности, из всякой совокупности навыков и знаний, из всякого искусства надо сделать науку. Тов. Буденный смотрит на меня скептически, но это относится даже к такой области, как кавалерия.

Надо только отказаться от такого способа рассматривать вещи и явления, который знает только: или — или, да — да, нет —

нет. Маркс и Энгельс называли этот метод матафизическим, в противоположность диалектическому.

В нашей военной литературе вообще замечается пристрастие к метафизическому методу. Что лучше: хороший паек или плохая военная доктрина? Армия баранов, предводительствуемая львом, или армия львов, предводительствуемая бараном? Вы, конечно, скажете: хороший паек и хорошая доктрина, армия львов и штаб из львов. Одно другого не исключает.

„Что такое военное дело? Искусство *или* наука?"—спрашивает метафизик.—„И искусство, и наука"—отвечает диалектик.—Искусство, становящееся наукой, по мере того, как мы при посредстве научного метода превращаем сумму военных навыков и знаний в военную науку".

Марксизм вносит научный метод во всякое общественное дело, во всякий общественный процесс, во всякое политическое и экономическое действие. И только марксизм может и должен пропитать научным духом такое по преимуществу политическое и экономическое действие, как военное дело. Вопрос о том, в какой степени наука вообще и марксизм в частности может овладеть той или другой отраслью военного дела, зависит от условий времени и места, от специфических особенностей данной отрасли. Одно дело вопрос об артиллерии, как особой отрасли военного дела, имеющей свое особое место в общей организации всей армии, вопрос о преимуществах полевой, крепостной, береговой артиллерии, другое дело — вопрос о преимуществах той или иной пушки, гаубицы или мортиры, вопрос о меткости и скорострельности того или иного артиллерийского орудия. Второй вопрос — вопрос технический, при решении которого тоже одним здравым смыслом и опытом не обойдешься. И тут необходима помощь науки, математики и естествознания. Марксизм, как метод общественных наук, тут мало поможет, но без него не обойдешься при решении первого вопроса.

Маркс, в одном из своих писем к Энгельсу, определяет военное дело, — сентиментальным людям это определение может показаться циническим, — как человекоубойный промысел, отрасль промышленности, которая занимается истреблением людей. „Где, — пишет он, — подтверждается еще более блестящим образом наша теория, что организация труда определяется средствами производства, как не в человекоубойной промышленности?"

БИБЛИОТЕКА

Конечно, это звучит не особенно хорошо. Но не нужно закрывать глаза на жестокую действительность. Война, это — взаимоистребление людей, военное дело, будем ли мы называть его искусством или наукой, это — совокупность методов и способов уничтожения „живой силы“ противника. Совершенство этих методов и способов определяется степенью развития отношений производства, орудий труда и орудий истребления.

Никто не спорит, что историю военного дела нельзя изучать, как совершенно автономную область явлений. Историк военного дела должен быть основательно знаком и с экономикой, и с политикой, и с идеологией данного народа и его господствующих классов. Нужно ли прибавлять, что лучшим руководителем и в этой области является марксизм? Ведь лучшие опыты истории военного дела, которые нам известны, тем лучше, чем больше авторы их приближаются к марксизму.

Против этого не будут спорить и те марксисты, которые отрицают возможность применения марксизма в военном деле. Но почему же марксизм необходим при изучении *истории*, при изучении *прошлых* судеб военного дела и неприменим при изучении *современного* военного дела?

Если прежде еще можно было подвергать сомнению тесную связь военного дела с экономикой и политикой, то после войны 1914 — 1918 гг. было бы смешно говорить об „автономии“ военного дела, о „вечных законах“ чистого военного искусства.

Преимущественное влияние экономических и социальных факторов в области военного дела нагляднее всего доказывается глубоким изменением, которое, в связи с развитием экономики и техники, произошло в соотношениях между различными частями военного дела и в особенности в соотношениях между стратегией и тактикой, двумя важнейшими частями учения о ведении войны.

Даже гражданские люди знают, что тактика, это — совокупность правил, которые необходимо знать, чтобы навязать противнику сражение, бой, при наиболее неблагоприятных для него условиях и уничтожить его „живую силу“. Из отдельных сражений складываются военные операции. До известной степени тактика остается наиболее „чистым“ военным искусством. Там, где известные формы общественных отношений остаются видимо неизменными, где данная общественная организация воспроизводится десятки и сотни лет на одной и той же основе,

там наряду с другими „вечными истинами“ создаются и „вечные принципы“ военного искусства. Оставалась без изменения общественная структура, оставались без изменения и структура боевой армии и те или иные приемы тактики. Великая французская революция, разрушившая основы старого феодального общества, расшатала и основы традиционного военного искусства. Она, как известно, произвела коренное изменение и в области тактики. Оказалось, что и тактика определяется не только степенью развития техники, но и классовым составом армии. Изменились не только средства уничтожения противника, изменяются также и пространственные условия боя. Где полководцу, великому тактику, достаточно было простого глазомера, там теперь нехватает подзорной трубы. Основная тактическая единица вырастает до размера старых армий.

Стратегия — штука более высокого калибра. Это — умение комбинировать и проводить ряд военных операций, предполагающее целый план подготовки и ведения войны. Стратегия имеет дело с рядом факторов, которые тактика принимает, как нечто данное, хотя они изменяются в зависимости от целого ряда условий — политических и экономических. Тактика знает только фронт, стратегия должна учитывать и состояние тыла своей страны, и состояние тыла своих противников. Полководец, который заботится только об увеличении тактических ресурсов армии, рискует преждевременно истощить экономические ресурсы своей страны. Тактическая удача часто является стратегическим поражением, и наоборот. Мировая война показала, что войсковая единица, которая когда-то являлась основной единицей и самостоятельно выполняла стратегические задачи, превращается в чисто тактическую единицу, все действия которой определяются диктуемой извне стратегической задачей. Во всех этих отношениях взаимозависимость между стратегией и тактикой, демаркационная линия между одной и другой, подлежит и будет подлежать еще немалым изменениям.

Вопросы стратегии настолько тесно связаны с вопросами экономики и политики, судьбы армии настолько связаны с судьбами всего гражданского населения, что грань между фронтом и тылом, которая значительно стерлась во время империалистической войны, грозит совершенно исчезнуть при новых успехах техники в области авиации и химической обороны.

Верховное командование, которое фактически превращается в коллегиальное — генеральный штаб, — не может уже довольствоваться „чистой“ стратегией старого типа. Возникает потребность в какой-то новой, „высшей“ стратегии.

Я не буду подробно доказывать, что все вопросы организации, комплектования, снабжения армии и флота требуют для своего разрешения глубокого знания истории военного дела, экономики и политики, т.-е. опять-таки уменья пользоваться методом марксизма.

Повторяю, только в таких чисто *технических* частях военного дела, как учение об оружии и фортификации, марксизм, — поскольку он является методом исследования *общественных* явлений, — неприменим. Тут требуются другие научные методы, тут могут и должны помочь техника, математика и естествознание.

Было бы только наивностью думать, что если марксизм так же необходим при изучении военного дела, как при изучении всякого общественного явления, что если марксизм является по преимуществу теорией классовой борьбы пролетариата, то можно построить особенную, пролетарскую военную доктрину в противоположность буржуазной. Это утопия.

В чем состоит значение знаменитого тезиса Клаузевица, на который так часто ссылаются? — В доказательстве, что вопреки мнению некоторых — иногда даже гениальных — полководцев, военное дело, война, не есть нечто совершенно самостоятельное, оторванное от общей политики, что, наоборот, она есть по самому существу своему политическое действие, продолжение политики другими средствами. Несмотря на это, все еще существует тенденция — и в нашей собственной среде — отрывать военное дело от общей политики, тенденция подчеркивать какую-то особую автономию боевых действий, противопоставлять „военную стихию“ гражданской политике. Количество и тут переходит в качество, иногда очень скверное, как это показал опыт такого энтузиаста „военной стихии“, как Людендорф. Средство должно быть подчинено цели, „военная стихия“ должна всегда управляться политическим разумом, стратегия — выполнять задания диктатуры пролетариата.

Война — печальная необходимость, но при известных условиях она неизбежна. Она может быть навязана даже пролетарскому государству, несмотря на то, что его политика не

только по видимости, но и по существу строго оборонительна. Вся наша стратегия должна быть построена на этом основном начале — обеспечении обороны пролетарского государства. Если война, то война оборонительная — оборонительная в интересах пролетариата, оборонительная в интересах советского государства.

Мы находимся на съезде военно-научных обществ, на котором участвуют и представители гражданских организаций. И тем важнее подчеркнуть, что смычка между красноармейцами, с одной стороны, рабочими и крестьянами — с другой, смычка между фронтом и тылом будет тем прочнее и теснее, чем лучше мы все усвоим себе мысль, что оборонительная политика пролетарского государства не есть „так себе"; нет, это не маневр, это не маскировка, это — сущность всей нашей военной организации.

Но только метафизик может думать, что оборонительная война исключает наступательные операции. Такую метафизику осмеял в одном из своих писем Энгельс: „На меня напали на улице, я вывернулся. Это допускается, это — оборона. Но если я, в целях самообороны, свалил своего противника, то это нехорошо, это, видите, уже преступление". В другом месте Энгельс говорит — цитирую на память, — что пассивная оборона — глупейшая вещь.

Я хорошо знаю, что среди вас есть горячие люди, которые во сне и наяву только о том и мечтают, как в один прекрасный день они завоюют и сокрушат весь буржуазный мир. Из всех возможных стратегий они признают только одну — стратегию сокрушения. Их лозунг: глазомер, быстрота, натиск. Лозунг, конечно, хороший. Бывает, однако, что быстрота развивается довольно большая, но натиск к концу пробега получается минимальный.

Опыт истории революционных войн от 1791 г. еще до сих пор не изучен, как следует, с точки зрения марксизма. Только превращение оборонительной войны в завоевательную, замена идейной пропаганды пропагандой при помощи оружия создали благоприятные условия для термидорианства, а затем бонапартизма.

На все попытки втянуть нас в войну у нас есть один ответ. Мы ни на кого не нападаем. Мы этого не стыдимся и будем в меру всех наших сил и возможностей избегать войны. Нет

ничего более гнусного, чем старая дворянско-буржуазная теория так называемого престижа. Ни на какое „оскорбление“ нашего международного престижа нас не поймаешь. Пусть себе ругаются. Никто не заставит нас выбрать поле сражения за двадцать тысяч верст, несмотря на все совершенства кавалерии тов. Буденного.

Повторяю. Мы продолжаем оставаться в капиталистическом окружении, мы укрепляем наше государство и со всей энергией стараемся доказать нашим примером пролетариату по ту сторону границы, что можно обойтись без буржуазии в деле развития производительных сил общества. Только такая политика ускоряет взрыв социальной революции на Западе.

Не надо тешить себя иллюзиями о внесении революции извне. Самая выгодная комбинация для нас, это — внутренняя, гражданская война по ту сторону. А это означает революцию изнутри. Но и в этом случае не всегда диктуется „движение на выстрелы“. Когда у наших друзей пожар в доме или когда на них напали бандиты, они встречают с радостью помощь но если избавитель, даже при достаточной жилплощади, располагается в этом доме на постой, он рискует вызвать очень скоро не совсем благожелательные чувства.

Конечно, у нас имеется огромное стратегическое преимущество, и именно на него опираются те товарищи, которые утверждают, что наше наступление само будет создавать себе новые силы. Мы имеем резервы позади тыла противника. Это, действительно, большое преимущество, позволяющее разлагать живую силу противника. Но эти резервы тем сильнее, чем меньше они нуждаются в нашей непосредственной боевой помощи.

В заключение несколько слов по поводу вопроса о военном воспитании и политпропаганде. И в этом случае мы имеем дело с той же метафизической постановкой вопроса: или — или. Мы завоевали власть, в наших руках весь государственный аппарат, школа, армия. Было бы смешно, если бы мы отказались от использования всего этого аппарата, чтобы воздействовать на воспитание и перевоспитание народных масс в духе наших воззрений. Тут мы должны учиться у буржуазии. Пролетариат и его партия должны использовать армию, как огромный аппарат для коммунистического воспитания трудящихся масс.

Что лучше: муштровка или политпропаганда? Муштровка и коммунистическое воспитание. Муштровка хороша тем, что сообщает красноармейцу все необходимые ему боевые навыки, приучает его тратить минимум энергии при выполнении военно-технических задач. Каждый красноармеец должен знать свой боевой маневр, но он должен также хорошо знать и свой классовый маневр.

В первую очередь, во вторую очередь и в третью очередь — коммунистическое воспитание хорошего красноармейского бойца, который прекрасно знает, что он должен быть готов оборонять свое социалистическое отечество, используя при определенных условиях времени и места все преимущества наступления, но который в то же время знает и умеет растолковать своему товарищу, беспартийному рабочему или крестьянину, что война хуже всякой холеры, что она — безобразие, порожденное и питаемое капитализмом, буржуазией, частной собственностью. Но когда война становится неизбежной, когда дело идет о защите против капиталистов, против буржуазии, против помещиков, тогда остается один выход — как в войне, так и в революции. Война пролетарского государства, это — продолжение революции другими средствами. И в том, и в другом случае самым надежным руководителем является марксизм. Всякий красноармеец должен помнить слова поэта:

Сохраняй свою осанку,
Над собой держи контроль!

Осанку красноармейскую, контроль коммунистический!

Б. ГОРЕВ.

ВОЙНА, КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ.

Правильность исторического материализма, этого единственно научного метода объяснения общественных явлений, интересно проверить на таком огромной важности историческом факторе, как война, которая противниками материалистического понимания истории часто выставлялась, как возражение против этого понимания, как самостоятельный, первичный фактор, самостоятельная движущая сила исторического процесса, врывающаяся „внезапно“ в „естественный“ ход развития общества и видоизменяющая его. Это тем более уместно сделать теперь, когда война и военные вопросы снова стали в центре общественного внимания, когда, под влиянием событий последних лет, такие ученые профессора, как Виппер, отрекаются от своих прежних, полумарксистских взглядов и готовы рассматривать всю историю человечества под углом зрения войн и великих людей, т.-е. возвращаются к тому виду исторического идеализма, самым вульгарным представителем которого был знаменитый в свое время Иловайский.

Мы и пытаемся в настоящем кратком вводном очерке выяснить, во-первых, является ли война самостоятельным фактором или же лишь одной из форм той экономической борьбы, которая составляет самую сущность исторического процесса, и, во-вторых, какие изменения вносятся в этот процесс самой войной, которая, в свою очередь, из следствия становится причиной и играет несомненно очень большую роль в истории человечества.

Есть точка зрения, согласно которой война лежит в самой природе человека. Человек драчлив по природе и без войны обойтись не может. Так называемые мирные эпохи лишь крат-

кие, временные передышки между войнами.[1] С этой точки зрения, мечты о прекращении войн в будущем — лишь жалкая утопия, наивная иллюзия. Война в человечестве такой же закон природы, как борьба за существование во всем органическом мире.

Так ли это? Конечно, нет. Величайшим вздором является попытка искать корни войны в психической „природе" человека. С тех самых пор, как человечество помнит себя, войны коренились в *экономических отношениях*, в борьбе за средства существования, а впоследствии за рынки и за источники сырья, в той экономической борьбе между племенами, народами и классами, которая заполняет всю историю человечества.

Уже в древнейшие, доисторические времена война является промыслом, своеобразной „охотой на людей".[2] Позднее войны возникают за лесные пространства для охоты, за пастбища для скота и, наконец, когда рост производительности труда

---

[1] Курьезно, что на этой позиции стоят не только принципиальные апологеты, т.-е. защитники и хвалители войны, но и некоторые убежденные пацифисты. Совершенно запутался в этом вопросе известный мелко-буржуазный пацифист, германский профессор Николаи в своей нашумевшей, но удивительно наивной, беспомощной в теоретическом отношении и полной вопиющих противоречий книге *„Биология войны"* (русское издание 1926 г., Ленинград), что не помешало Ромэну Роллану в восторженном предисловии к этой книге назвать Николаи — „гением освободителем". На стр. 17 русского издания мы читаем, что целью книги является убедить читателей, что „война (притом не только данная, но и война вообще) представляет собой явление преходящее, не заслуживающее слишком серьезного к себе отношения". А на стр. 7, 24, 86 и 90 мы находим следующие изречения: „важнейшие основы такого явления (как война. *Б. Г.*) скрываются в наиболее сокровенных и глубоких тайниках человеческой души"; „любовь к войне содержится в самой крови народа"; „стремление к умерщвлению коренится, повидимому, в человеческой крови" и, наконец, что ко времени мировой войны „взлелеянная прежними кровожадными инстинктами любовь к войне возросла до гигантских размеров". А спустя всего 2 страницы после этой цитаты, на стр. 92 наш „гений освободитель" начинает новую главу словами: *„Человек — создание миролюбивое"*, но, видите ли (спустя несколько строк), „люди не хотят жить дружно, а стремятся к взаимному уничтожению". И весь этот чудовищный и чудовищно-противоречивый вздор пишет естественник, кичащийся своим „научным" и „объективным" методом!

[2] Сравнительно не так еще давно в некоторых местах сибирской тайги крестьяне подстреливали бежавших уголовных поселенцев. На вопрос, как это они с такой легкостью убивают людей, они благодушно отвечали: „халат, паря, дороже белки" (за арестантский халат можно было выручить рубля три, а белка стоила на рынке не больше полтинника).

делал выгодным рабский труд, войны предпринимались рабовладельцами и работорговцами. Такие „войны“ велись в Африке „просвещенными“ европейцами еще в середине XIX в., а отчасти ведутся и теперь. Войны за расширение территории всегда преследовали лишь одну цель: экономическую эксплоатацию покоренных народов. А иногда войны разгорались между разными претендентами на роль эксплоататоров, и здесь война была одной из форм соперничества за власть над плодородными пространствами, источниками сырья или за торговые прибыли. Таковы, например, знаменитые войны древности, как пелопонесская в Греции, пунические войны в Риме и бесчисленное множество других.

Если мы обратимся к истории одних лишь новых европейских народов, начиная с завоевания Римской империи германскими варварами и кончая войной 1914—1918 гг., то мы легко убедимся, что все почти войны (за исключением революционных и национально-освободительных, о которых ниже) были не чем иным, как более или менее грандиозным грабежом, средством порабощения и закабаления трудовых масс или взаимной борьбы хищников и грабителей разных наций за господство или первенство. Таковы все большие и малые средневековые войны, затем войны „династические“ (т.-е. за „округление“ владений той или, иной правящей династии, как Бурбоны, Габсбурги, Гогенцоллерны потомки Калиты), войны торговые (за пути сообщения, за рынки, за колонии), наконец, новейшие империалистические войны.

Войны, таким образом, коренятся не в психической природе человека вообще, якобы склонного к драчливости, а в борьбе экономической и, главным образом, — с тех пор, как общество разделено на классы, — в хищнической и грабительской природе господствующих классов, в *интересах которых* войны обыкновенно велись и ведутся. Но при этом, конечно, истинные цели войны скрываются от одураченных народных масс, и на место их выдвигаются цели более или мене возвышенные: оскорбленная „честь“ того или иного феодального князя или короля, торжество католической, протестантской или православной религии (крестовые походы, войны реформации), позже борьба за попранную справедливость, мнимое желание „освободить“ чужие угнетенные народы (войны Наполеона I и III, русско-турецкие войны) и, наконец, борьба за „демократию“

стран Антанты против германского империализма и милитаризма.

Но если война, таким образом, является лишь средством, орудием в руках господствующих классов, если она служит их экономическим и политическим интересам, то она, в свою очередь, заставляет служить себе и политику и экономику. В области внешней политики главной задачей ведущего войну государства является политическая и экономическая *изоляция* и *разложение* противника (для чего служат дипломатические союзы и экономическая блокада, с одной стороны, воздействие на недовольные элементы в лагере противника — классовые, национальные и религиозные, — с другой); в области внутренней политики такой же главной задачей является *обеспечение тыла* в экономическом и политическом отношении. Правильная, умелая внутренняя и внешняя политика, высоко развитая экономика являются не менее важными факторами успешного ведения войны, чем хорошая армия, умелая тактика и стратегия. Иногда даже классовый момент является определяющим. Красной армии удалось во время гражданской войны и интервенции победить всех своих многочисленных врагов, несмотря на их экономическое, техническое и военное превосходство, так как она была плоть от плоти рабочих и крестьян, отстаивающих завоевания революции, тогда как противники опирались на армию, в классовом отношении враждебную господствующим дворянским или империалистическим верхам.

Все это вместе взятое теснейшим образом связывает войну с вопросами экономическими и социально-политическими.

Далее, не только сама война служит лишь средством и формой борьбы экономической, но и *способы ведения войны, организация армии*, все вообще *военное* искусство в своей эволюции точнейшим образом отражают развитие экономики, рост производительных сил и эволюцию общественных отношений, классовой борьбы и государственной власти.

У доисторических племен, сохранивших свой родовой быт, незнающих еще ярко выраженного деления на классы, война ведется всем племенем, всеми взрослыми мужчинами (которых иногда в походе сопровождают и женщины). Таковы североамериканские индейцы, таковы же были древние германцы. Здесь нет еще государственной власти и нет армии, отделенной от народа. В феодальную эпоху, с ее резкой классовой

и сословной дифференциацией, с ее децентрализацией власти, — организация армии и способы ведения войны вполне отвечают феодальному общественному строю. Армия состоит в основе своей из *рыцарей*, т.-е. из вооруженных помещиков, является чисто классовой. Слуги их играют лишь роль оруженосцев и сопровождают обоз, ибо, при обостренных классовых отношениях, вооружать крепостных было бы опасно. Бои решаются физической силой, ловкостью и личной храбростью, для чего рыцари долго и упорно тренируются. Большие сравнительно армии составляются из добровольных рыцарских отрядов, выполняющих свои феодальные повинности по отношению к высшему феодалу, сюзерену.

Зарождение и рост торгового капитала, рост городов, способствует, как известно, появлению и развитию абсолютизма в его борьбе с крупным феодальным дворянством (в России — боярством). Для того, чтобы сломить феодалов, против них выдвигаются *наемные войска*, при чем средства для их содержания и вооружения дают города,[1] а людской материал берется отчасти из той массы деклассированных, выбитых из колеи людей, которые появляются в переломную эпоху конца средних веков, эпоху замены натурального хозяйства денежным. И, как всегда в таких случаях, на помощь этому процессу приходит революция в области военной техники, как следствие общего развития производительных сил: изобретается *огнестрельное оружие*.

Если раньше классовые армии вооруженных помещиков на конях лишь в исключительных случаях терпели поражения в своих столкновениях с народными массами (в войнах с швейцарцами, которым сохранившийся еще у них родовой строй давал большую моральную связь и стойкость, или в сражениях с революционными войсками *гусситов* в Богемии, с их религиозным и социальным энтузиазмом), — то теперь новая военная техника является в конце концов решающей, хотя она не сразу входит в употребление, а развивается медленно и постепенно. Принципы торгового капитала идут так далеко при

[1] Впрочем, еще во время расцвета феодализма мы встречаем отряды, содержимые на счет городов и аббатств, а также ополчения горожан, возникавшие в борьбе городских общин с соседними феодалами. Но не эти отряды, а рыцарские армии характеризуют эпоху. Они были на первом плане, а зародыши наемных армий имели второстепенное значение.

этом, что как сбор налогов поручается иногда (во Франции) откупщикам, так и наемные армии, особенно иностранные (чаще всего в ту эпоху швейцарские или германские — „ландскнехты") вербуются особыми подрядчиками военного дела, наемными командирами, предлагающими свои услуги той из воюющих сторон, которая больше заплатит.

При этом в бурную эпоху складывавшегося абсолютизма наемные армии еще пользовались значительной независимостью и отличались своеволием и даже распущенностью. Наоборот, к XVIII в., вместе с укреплением государственной власти и ростом мануфактуры, обезличивавшей прежнего свободного ремесленника, превращавшей его в автомата, — изменяется и характер армий, которые из *наемных* превращаются в *вербовочные* и в которых деклассированные элементы муштруются при помощи палочной дисциплины.

Новый этап в организации армии и в истории военного искусства вообще начинается с эпохи Великой Французской революции и вызванных ею национальных войн. Эта эпоха впервые создала для широких масс, прежде всего французских, понятие *отечества*, нации, ибо с этим понятием связывалась защита добытых революцией прав и земли от иностранного нашествия. Раньше войны (кроме революционных или направленных против хищников-завоевателей, как венгры или татары) велись в интересах тех или иных властителей и были поэтому совершенно чужды массам. Теперь революционная буржуазия или буржуазия, боровшаяся за национальную независимость (во время войн Германии с Наполеоном), подчинила своему идейному влиянию еще шедшие за нею массы при помощи *чувства патриотизма*. Эти новые чувства и понятия и дали возможность перейти постепенно от наемных и вербовочных армий *к всеобщей воинской повинности*.[1]

И характерно при этом, что единственной страной в Европе, которая не ввела у себя всеобщей воинской повинности вплоть до мировой войны, была Англия, которой не грозила никогда непосредственная военная опасность и которая охраняла свои торговые пути и вела свою хищническую колониальную политику при помощи флота.

---

[1] При чем и тут *экономический* фактор — мощное развитие капитализма — дал *материальные* предпосылки для содержания, вооружения и передвижения новых огромных армий.

Дальнейшее развитие военного искусства в XIX и XX веках сводилось, главным образом, к развитию военной техники, в соответствии с той грандиозной, непрерывной технической революцией, которая сопровождала все развитие новейшего промышленного капитализма. А к новой технике вынуждены были приспособляться и формы организации армии и ведения боя.

Любопытно здесь также отметить, как, в зависимости от организации армии и способов ведения войны, менялись необходимые для войны качества и особенно психология. Если в рыцарские времена нужна была индивидуальная храбрость, сила и ловкость; если позднее, в наемных армиях или армиях, созданных путем рекрутчины, создавалась палочная дисциплина и вырабатывалась тупая покорность, то в новейшие времена, в эпоху всеобщей воинской повинности особое значение приобрел *моральный* элемент, чувство патриотизма и даже шовинизма, которое вырабатывалось в молодежи еще со школьной скамьи. Здесь, таким образом, всеобщее обучение народа являлось в руках господствующих классов необходимым дополнением всеобщей воинской повинности.

Наконец, чудовищные технические усовершенствования эпохи мировой войны требуют от воюющих армий уже не только активной, наступательной храбрости, но и спокойного мужества, выдержки, нервного напряжения, умения обращаться со сложным оружием, умения приспособляться к неожиданным переменам обстоятельств. И это достигается большим процентом в армии *промышленных рабочих*, у которых их фабрично-заводская или горная работа, с ее грохотом, с ее ежеминутными опасностями, с ее строжайшей, чисто машинизированной трудовой дисциплиной, вырабатывает качества, необходимые для современной войны, а нужное для буржуазии „патриотическое“ воспитание в значительной мере берут на себя „соглашательские“ социалистические партии...

Являясь следствием и формой борьбы за экономические интересы, война, раз возникнув, в свою очередь действует на общество. Какова же ее роль, как фактора исторического развития?

Представители тех господствующих групп, которым войны выгодны, а также апологеты и певцы военной касты любят говорить, что война имеет облагораживающее влияние, что она вырабатывает сильные характеры, мужество и волю, развивает товарищеские чувства и т. п. Без войн, по мнению этих апостолов войны, человечество опустилось бы на низшую ступень. Им вполне резонно отвечают представители буржуазного и мелко-буржуазного пацифизма (миролюбия), что социальные следствия войны прямо противоположны. В самом деле, война действует, как отрицательный отбор. Она уничтожает цвет нации, самую крепкую молодежь, при чем как раз наиболее мужественные, стойкие и дисциплинированные погибают в большем числе, чем трусы и шкурники.[1] Наконец, война, на ряду с подвигами героизма и самоотвержения, разнуздывает и худшие инстинкты человека, воспитывает в нем полное неуважение к человеческой личности, культивирует национализм и шовинизм. Вместе с тем войны, с одной стороны, стимулируя развитие промышленности, рост городов, появление технических изобретений, с другой — уничтожают массу производительных сил, содействуют развитию болезней и т. п.

Как же смотрят на роль войны революционные марксисты? Для них, как для диалектиков, нет готовых, раз навсегда данных, неизменных истин, для них всякое сложное явление имеет две стороны, носит в себе ряд противоречий. Признавая все отрицательные стороны войны, борясь за такой строй, в котором войны — этот бич человечества — будут немыслимы, революционные марксисты отнюдь не являются *принципиальными пацифистами*. Они признают, что войны, как и всякое насилие, имели не раз в истории глубоко революционные последствия. Борясь в настоящее время против империалистических войн, которые ведутся в интересах мировых хищников *для порабощения* трудящегося человечества, революционные марксисты или коммунисты признают огромное положительное значение за войнами революционными или же национально-освободительными, ибо они *ускоряют* развитие общественных отношений, ускоряют процесс освобождения трудящихся от насилия и эксплуатации.

---

[1] Наполеоновские войны, стоившие Франции колоссальных жертв людьми, по мнению некоторых ученых, несомненно отразились на *понижении* физического уровня французской нации.

Нож является орудием преступления в руках разбойника и орудием исцеления и освобождения в руках хирурга. Пожар— величайшее бедствие, но иногда, разрушая все гнилое, он, по выражению Скалозуба в „Горе от ума“, — „содействует много к украшению“ и оздоровлению человеческой жизни.

Р. С. ЦИФФЕР.

ТАКТИКА И ТЕХНИКА.[1]

I.

Идеологический перелом в военной науке после мировой войны, перелом, все отчетливее характеризующийся ростом материалистического понимания явлений войны и боя, сказывается в различных отраслях военной науки неравномерно.

Наибольшие сдвиги в сторону материалистического объяснения и исследования заметны в области учения о войне. Нельзя ведь найти теперь мало-мальски серьезного исследователя, который объяснил бы возникновение минувшей мировой войны кровожадностью Вильгельма II, императора германского, или же трогательной заботливостью Антанты о светлом будущем человечества. Не только материалисты (не говоря уж о марксистах), но даже исследователи, считающие своей первейшей обязанностью отмежеваться от материализма, вынуждены, для достижения научности своих трудов, придерживаться по существу материалистических методов.

Наиболее крупные сдвиги, повторяем, могут быть отмечены в области учения о войне.

„...Военная история, история войн представляет собою один из важнейших отделов в истории развития человеческого общества, в истории развития классовой борьбы внутри общества и конкурентной борьбы между господствующими классами разных наций. Войны внешние или гражданские — это явления социальные, происходящие только в определенной общественной среде, формы и цели их можно объяснить только путем изучения той общественной и исторической среды, в которой они происходили и происходят, путем исследования тех определенных условий времени и места, которые наклады-

[1] Статья представляет собой выдержку из готовящегося к печати труда автора „Пехота“.

вают на них свою печать". (Д. Рязанов. Марксизм и военное дело, стр. 12—13.)

Такое понимание войны, ее истории и методов ее изучения, можно без преувеличения сказать, является общим для значительного числа современных исследователей.

На противоположном секторе — в *технике* военного дела, в самом узком понимании этого понятия,— иная обстановка: „...в таких чисто технических частях военного дела, как учение об оружии, фортификация,—марксизм, поскольку он является методом исследования общественных явлений, неприменим". (Д. Рязанов, цит. труд, стр. 20.)

В данное время, с точки зрения усовершенствования методов исследования, иными словами, с точки зрения целесообразности и возможности применения методов диалектического материализма, наибольший интерес представляет область учения об *операциях* (оперативное искусство) и о *бое* (тактика).

Вместе с тем, в этих именно отраслях военной науки, особенно в тактике, сама жизнь, в итоге опыта последних войн, требует наибольших изменений, наибольших улучшений. Это тот сектор военной науки, на котором должен быть сделан очередной идеологический прорыв.

В дальнейшем изложении постараемся ответить, в чем конкретно должны заключаться методологические изменения в области тактики.

II.

Наиболее определенные указания на необходимые изменения в области методологии тактики дает опыт минувшей мировой войны. Позиционная форма этой войны, как совершенно неизбежное последствие колоссальных современных возможностей в промышленной области, а следовательно и в области военной техники, имеет для тактики величайшее прогрессивное значение. Благодаря позиционной форме войны, современная военная техника, ее мощь и возможности выявились в полной мере, выявились также наиболее целесообразные методы овладения этой техникой. Можно без преувеличения сказать, что минувшая позиционная война была наиболее „научной" из всех войн, какие только вело человечество. В области военной науки она кладет резкую грань между прошлым, с его примитивными подходами к вопросам военной техники и ее

использования, и между настоящим и будущим, когда на победу сможет рассчитывать только тот, кто научно подготовлен к оформлению военной техники и ее использованию.

Прежде чем приступить к дальнейшему изложению, укажем на то интересное обстоятельство, что позиционная война вместе с тем служит прекрасной иллюстрацией господствовавшего до нее отрыва вопросов военно-технических от оперативных. Такие существенные средства войны, как пулеметы, созданы были и развились в полном смысле слова штатскими людьми, военными же специалистами они были замечены с опозданием и в значительной мере неверно оценены. Ряд других важных технических средств тоже был, так сказать, штатского происхождения; так же, как пулеметы, эти средства создавались не под давлением, контролем и наблюдением будущих операторов.

Обычно, подводя итоги мировой войне, указывают на громадный рост техники во время ее. Это утверждение нуждается в уточнении. Оно верно в том отношении, что мировая война выявила большой *количественный рост* техники, количественный рост, в полном смысле слова породивший *качественное* изменение; рост, изменивший характер войны, формы сражения и боя, а также методы их организации и ведения. Совершенно, однако, неверно утверждение, что мировая война выдвинула вполне новые технические средства. Подтвердим это примерами. Возьмем оружие пехоты: русская армия вступила в мировую войну, имея на вооружении винтовку образца 1891 г. Немногим моложе были винтовки других армий: германцы имели винтовку образца 1898 г., австрийцы 1895 г., англичане 1903 г., французы — 1886 — 93 (эта винтовка оставлена французами за непригодностью в 1916 г.).

Пулеметы русской пехоты были образца 1912 г. Вообще же появление пулеметов этой системы (Максим) относится к 1884 году.

Не был новинкой и ручной пулемет. Еще в русско-японскую войну 1904 — 05 гг. русская конница имела на вооружении ручные пулеметы системы Мадсена, образца 1902 г. Не была новинкой и автоматическая винтовка. Изобретение ее относится к 1863 г. (автоматическая винтовка системы американца Пилона). К началу мировой войны было уже вполне разработано довольно значительное количество различных

систем автоматических винтовок (системы Маузера, Манлихера, Шельмана, Шагрена, Банга, Мандрогона, Чеи-Риготти, Федорова и др.). Одна армия (правда, всего лишь мексиканская) начала даже еще до мировой войны перевооружение автоматической винтовкой.

О таких же новинках, как ручные гранаты, и говорить не приходится. Упоминание о них можно найти в труде некоего Батисто де-Ла-Валля, труде, изданном в Венеции в... 1524 г. Если не брать времен столь отдаленных, достаточно указать, что в русско-японскую войну, при осаде Порт-Артура, обе стороны израсходовали ручных гранат в количестве, измеряемом многими десятками тысяч. Этот список можно было бы еще продолжить. Полагаем, однако, что приведенных данных достаточно для подтверждения нашего утверждения, что мировая война вовсе не изобиловала техническими новинками. Упомянем только, что и в области артиллерии наблюдалась такая же картина. Из всех существующих полевых пушек до сих пор считается наиболее совершенной французская 75-*мм* пушка, образца 1897 г. Тяжелая артиллерия, давшая германцам существенный перевес в начальный период мировой войны, тоже не была новинкой. Она была вооружена орудиями образцов конца минувшего и начала настоящего столетия. Естественно еще старше был возраст орудий тяжелой артиллерии русской армии. Русская армия в мировую войну пользовалась орудиями образцов 1867 г. (9-дм. береговая пушка), 1877 г., 1904, 1909, 1910 и наконец 1915 года.

Даже такие новинки мировой войны, как авиация, танки, отравляющие вещества, не появляются впервые только в эту войну. Авиация нашла до этого боевое применение в 1911 г. в итало-турецкую войну и в 1912—13 гг. (балканские войны).

Перейдем к танкам. Не нова идея гусеницы. Еще в 1801 г. Томас Джерман изобрел „средство облегчить движение, заменив бесконечной цепью или серией катков обыкновенные колеса“. Последовательные усовершенствования этой идеи отмечаются в 1812, 1821, 1846, 1861, 1882 и 1886 г. Наконец в 1888 г. появляется так называемый „трактор Бетера“, в котором ясно видны основные идеи танковой передачи и танковой конструкции. Этот трактор был снабжен двумя гусеницами, очертания которых близко подходят к гусенице танка средней марки „А“ (Уиппет) и легкого пушечного

танка... „Между наружной цепью и катками была протянута внутренняя цепь. Внутренняя цепь или сцепка была много у́же наружной, и это позволяло последней свободно вращаться, приспособляясь к неровностям грунта, при чем это не влияло на движение колес. Почти то же устройство было недавно присвоено для устройства подвижного полотна танков. Катки были... как и в танках, машина была снабжена двумя хвостовыми рулями для управления и равновесия; та же идея была применена для танков марки 1 и легкого пушечного танка, но постепенно была видоизменена". (Фуллер. Танки, стр. 16.)

В дальнейшем развитие двигателей внутреннего сгорания значительно повлияло на быстрое развитие и усовершенствование тракторов. Машины этого рода испытывались в английской армии с положительными результатами еще в 1907—1908 г. В английском военном журнале „Артиллерийские и военно-технические известия" еще в 1909 г. появилось предложение, полностью предвосхищающее идею устройства и применения танков.

А вот что говорят о химической борьбе Р. Ганслиан и Ф. Бергендорф в труде „Химическое нападение и оборона": „Химическая война насчитывает уже тысячи лет существования, и зачатки ее можно найти в глубокой древности... Неоднократно предлагали и пробовали выкуривать дымом обороняющихся, которые из-за своих стен отражали натиск осаждающих своими метательными снарядами. С наветренной стороны неприятельской позиции зажигали серу и мышьяк, вместе с дымо-образующими горючими веществами, например смолой или варом, так что ветер наносил возникавшее при этом облако газа на неприятельские позиции. Устраивали метательные снаряды, начиненные химическими веществами, которые должны были делать негодным для дыхания воздух в точках попадания. Подобными приемами пользовались, например, спартанцы при осаде Платеи и Велиума, во время пелопонесской войны в 431—404 годах до начала нашей эры. Известен также греческий огонь VI века до нашей эры, состоявший из смолы, нефти, серы и негашеной извести и впоследствии в XII веке часто применявшийся сарацинами против крестоносцев". Далее у тех же авторов читаем... „Мысль о химической войне существует издревле. Однако до мировой войны ее решающее военное значение ни одним

из воюющих государств не было своевременно признано и оценено по достоинству".

Отметим все же, что прогресс военной техники наиболее значительно сказался в мировую войну в отношении авиации, танков и отравляющих веществ. Причины этого ясны: прогресс авиации и танков тесно связан с общим прогрессом двигателей внутреннего сгорания. Мощь химической промышленности Германии не только позволила применить отравляющие вещества, как вполне реальное боевое средство, но и способствовала необычайно быстрому росту боевых качеств отравляющих веществ и размерам их применения.

Бесспорно в конечном итоге то обстоятельство, что техника мировой войны не была техникой новой в полном смысле этого слова. Бесспорно, что возможности ее могли быть выявлены и оценены до возникновения войны. До войны могли быть выявлены, оформлены и систематизированы тактические методы и приемы использования этой техники, а также средства, способы и приемы борьбы с ней. Тем более, что если не целиком, то в основной своей части техника эта уже была применена в войнах англо-бурской, русско-японской, итало-турецкой и балканских.

Первые же бои мировой войны свидетельствовали об обратном. Технику знали мало, или вовсе ее не знали, использовать технику и бороться с ней, как следует, не умели. Иногда перед лицом ее были совершенно беспомощны. Предвидение действий техники в грядущей войне вовсе не требовало каких-либо сверх-человеческих дарований. Ведь совершенно очевидно: если какое-нибудь техническое средство обладает определенными возможностями, то эти возможности в борьбе, когда напрягаются последние силы, будут использованы в предельной степени. Если достигнуто, например, повышение дальнобойности артиллерии, то вполне естественно, что эта дальнобойность будет использована; если достигнута большая скорострельность пулеметов, то несомненно, что в бою она должна будет найти применение.

В свою очередь использование предельных возможностей техники неизбежно должно приводить к усилению поисков защиты (защитных средств, способов и приемов) от ее действий. Когда эта защита будет достигнута в полной мере, понадобятся новые средства нападения, новые в дословном пони-

мании, или те же средства, но в новых количествах, или же новые методы применения наличных средств.

Мощь техники не могла не привести к усиленному использованию защитных сооружений, к системе окопов мировой войны.

Если не только не наблюдалось умение предвидеть грядущие формы использования существующей техники, но даже не было достаточного умения правильно оценить существующие технические средства, то единственной причиной этого явления можно считать наблюдавшийся отрыв военной науки от ее материальной технической базы. Военная техника развилась сама по себе, отвлеченные оперативные идеи и схемы — сами по себе. Ясного понимания зависимости форм и методов оперативного мышления от состояния и эволюции военной техники не было, да — в полной мере — нет и до сих пор.

Последствия — этого отрыва — проигранные сражения и многие тысячи лишних жертв.[1]

Опыт мировой войны нагляднее и убедительнее всех отвлеченных рассуждений указывает на необходимость каждому оператору быть материалистом в полном смысле этого слова, вернее сказать, не только материалистом, но материалистом-диалектиком, „рассматривающим вещи и их отражение в понятиях — в их взаимной связи, в сцеплении, в движении, в возникновении и уничтожении...“. (Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 7—8 немецкого оригинала.) Без понимания значения техники, как фактора, предопределяющего собой оперативное мышление, а также формы тактики и организации, без умения изучать эту технику и понимать ее диалектически, т.-е. в процессе развития, оперативная грамотность недостижима. Если марксизм не может научить хорошо стрелять из пулемета,

---

[1] Здесь сказывается характерная для всякого общественного развития зависимость *надстройки*, как организационной, в данном случае — тактики, так и идеологической, в данном случае — военной теории, *от базиса*, т.-е. от развития производительных сил, в данном случае — военной техники. И как в развитии общества вообще, так и в военном деле наблюдается нередко известное *отставание* эволюции надстройки от эволюции базиса, известный *консерватизм* производственных отношений и идеологии, т.-е. в военном деле — форм организации и тактических и оперативных доктрин. В результате такого отставания, такого „отрыва“ надстроек от базиса и происходят революции и военные катастрофы.

Прим. ред.

то он может научить оператора более важному, а именно пониманию причин современного значения пулемета, причин, породивших пулемет и определяющих его дальнейшее развивитие. Тот, кто понимает процессы военной техники в целом и в деталях, кто понимает и учитывает их отражение в оперативном деле, тот не будет беспомощным при появлении новых технических средств. Чем лучше понимает он причины и обстановку появления существующих средств, тем лучше сможет он предвидеть дальнейший прогресс техники и порождаемые этим прогрессом изменения в формах и методах боевого использования техники.

К признанию этой истины в мировую войну пришли чисто эмпирическим путем. Наиболее характерно ее практическое отражение в артиллерии, роде войск, наиболее „техническом" из основных родов войск и наиболее значительно влиявшем на ход и результаты боев мировой войны. Именно в артиллерии сама жизнь заставила выдвинуть, в качестве фактических руководителей крупных артиллерийских масс, людей, обладавших лучшим знанием и пониманием техники, выдвигать их, невзирая на чин и возраст.

Война потребовала выдвижения таких людей, как Кирей в русской армии, Брухмюллер и Пулковский в германской армии, потому что эти люди действительно знали и понимали технику, умели ее использовать, умели ею оперировать.

Остановимся несколько на Кирее. „Ошибки обще-войскового командования, поведшего атаку без сближения с трех тысяч шагов, ошибки артиллерийского руководства, разбрасывание огня по чрезмерно широкому фронту, неумение парализовать фланги атаки от огня, — все это вместе повело к кровавой неудаче... Никогда не изгладится впечатление ужасного избиения, которому подверглась наша пехота, хладнокровно подпущенная нерасстроенным противником на дистанцию прямого выстрела... Трудно передать впечатление участника неудачного прорыва. После артиллерийской подготовки идешь версты полторы под дружным огнем артиллерии противника. Начиная шагов с 500, попадаешь под внезапный бешеный огонь молчавших до сих пор пулеметов и ружей. Чувствуешь — вот враг в прочных блиндажах с бойницами, за нетронутыми 10 — 15 рядами проволоки с усмешкой бьет на выбор... Мерзлая земля, чуть запорошенная снегом. Лежишь часами. Сколько

передумаешь. Ранят — не вынесут, — близко к проволоке... Злоба к врагу, но еще больше ненависти и презрения к штабам и артиллеристам (им там в тылу не жарко!), не сумевшим подготовить успеха... Кирей сумел извлечь из этой неудачи необходимый урок... Выводы его блестяще оправдали себя и позже, при атаках 1917 года, несмотря на разложение армии". (А. Буров. Предисловие к книге: В. Ф. Кирей, „Артиллерия в атаке и обороне". Стр. 6 — 7.)

Здесь не место подробно останавливаться на причинах понимания этим русским артиллеристом требований, какие должны и могли быть предъявлены артиллерии, и способов их выполнения; так же, как и в другом аналогичном примере, с германским артиллеристом Брухмюллером, корни этого оперативного понимания и умения заложены в знании и понимания техники.

Таким должен быть современный оператор, — техник и тактик одновременно. Не может быть грамотным оператором в современных условиях тот, кто не понимает техники, как данной, влияющей на все стороны организации, подготовки и применения войск. Не знает и не понимает факторов, влияющих на развитие военной техники, определяющих ее состояние в каждый данный момент тот, кто не понимает основных направлений прогресса военной техники, его зависимости от успехов промышленности вообще, и значения этого прогресса в вопросах оперативных и тактических.

Интересно отметить, что при всех своих недостатках высший командный состав Красной армии времен гражданской войны был несравненно выше генералитета старой армии в том отношении, что он в большинстве своем на себе испытал мощь техники (правда, чисто эмпирически познал ее значение) и не был стеснен в ее использовании отвлеченными идеями и схемами, выведенными из опытов полководцев давно минувших времен. Спасительная неграмотность в области „вечных неизменных принципов" военного искусства и относительная техническая грамотность командиров Красной армии времен гражданской войны позволила им прощупать и осуществить совершенно новые приемы решения боевых задач при борьбе незначительными силами со слабой количественно техникой на фронтах громадного протяжения. Боец Красной армии умел „выжать" из пулемета все то, что он мог дать, не предаваясь

метафизическим размышлениям о пользе и вреде скорострельности и о засорении техникой высот оперативного мышления.

Поясним на частном примере, каким образом, только диалектически мысля, можно верно уяснить основные направления прогресса военной техники и тактического значения этого прогресса.

Известен факт, на котором мы остановимся ниже, что развитие пехотного оружия шло скачками в полном соответствии с развитием промышленно-технических возможностей. После 150-летнего существования кремневого ружья наступает период частых перевооружений. Вместе с тем в этой же области, начиная с конца минувшего столетия, заметна некоторая „стабилизация", несмотря на общий технический прогресс. Например, современная винтовка красного пехотинца состоит уже на вооружении 35 лет. Казалось бы, трудно свести концы с концами. Гораздо более слабый темп технического прогресса в середине прошлого столетия сильнейшим образом отражается на состоянии оружия, и в то же время позднее, при гораздо более быстром темпе общего технического прогресса, в маленькой области техники оружия (оружия пехоты — винтовки) наблюдается застой. Действительно, если рассматривать этот факт оторванно, противоречие необъяснимо. Если же его взять „во взаимной связи, в сцеплении" с другими данными из области прогресса оружия, он объясняется просто. Мы заметим, что в тех именно направлениях развития пехотной винтовки, которые наиболее ярко сказывались на протяжении второй половины прошлого столетия, — развития дальнобойности, скорострельности, меткости, меньшей зависимости от стрелка, — теперь, при современном состоянии техники, можно добиться гораздо больших результатов, развивая *оружие машинное — пулеметы*, не только дополняющие, но и по существу заменяющие винтовку. Развитие этого вида оружия позволяет ограничиваться до сих пор в отношении винтовки сохранением уровня, достигнутого к концу минувшего столетия и началу нынешнего. Основные тенденции развития те же, направления и способы их осуществления другие. В этой именно области лежат корни современной тактики пехоты.

Итак, совершенно неизбежен вывод из опыта минувшей мировой войны: нельзя выявить умение использовать технику и бороться с ней, не зная этой техники, не понимая факторов,

определяющих ее состояние и развитие, не понимая всеобъемлющего влияния техники на все стороны организации, подготовки и применения войск.

Это значит, что сумеет целесообразно и полно использовать технику тот, кто подходит к вопросам ее изучения и использования *диалектически*, кто понимает ее „не как комплекс готовых вещей, но как комплекс процессов, в которых кажущиеся неизменными вещи, равно как и их идейное отражение в нашей голове, т.-е. понятия, испытывают непрерывную смену возникновения и уничтожения“.

Кто подходит к делу иначе, тот неизбежно в лучшем случае будет знать технику на каком-нибудь относительно коротком отрезке ее развития, но не будет понимать прогресса техники, не будет обладать умением — пути и формы этого прогресса предвидеть.

Оператор должен быть верен основному положению диалектического материализма, он должен рассматривать понятия „материалистически — как отражения действительных вещей, вместо того, чтобы действительные вещи рассматривать, как отражение абсолютного понятия на той или иной ступени его развития“.

И боевая практика, особенно минувшей мировой войны, и теоретические предпосылки марксизма совершенно одинаково приводят к выводу, что не „вечные и неизменные принципы военного искусства“ а, наоборот, твердое сознание того, что не существует ничего „раз навсегда установленного, безусловного, святого“, — должно лежать в основе оперативного умения.

Нигде, как в военном деле, так наглядно не сказывается зависимость идеологии от материальной базы, ничто, как военное дело, не дает большего подтверждения правильности положения К. Маркса, что „идея есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преображенное в ней“.

Достаточно проследить опыт минувшей мировой войны, чтобы найти подтверждение правильности приведенных выше положений. Чаще всего в эту войну причиной поражений была предвзятость оперативного мышления, переоценка мощи оперативной мысли, недооценка технического фактора. Победы чаще всего были прямым следствием верного построения опе-

ративных предположений на реальной материальной базе. Навязывал свою волю противнику тот, кто строил ее на прочном материальном фундаменте, а не тот, кто пытался под решение, принятое „по вдохновению“, подогнать материальную базу операции.

Было бы однако неверно односторонне понимать высказанные выше положения, понимать их так, что существует только односторонняя прямая связь между материальной базой и оперативным мышлением. Само собой понятно, что на ряду с этой связью, тесно переплетаясь с нею, есть связь обратная, выражающаяся влиянием оперативной мысли на частные видоизменения материальной базы. Предопределяющим все же первичным является фактор — „материя“.

Из сказанного выше ясно, какую значительную роль в подготовке тактически грамотного оператора играет история. Не зная, как развивались средства борьбы и как вместе с тем развивались способы и приемы их применения, совершенно невозможно, хотя бы приблизительно, предвидеть, как будут развиваться средства борьбы и как, следовательно, будет эволюционировать оперирование ими. Без умения же этого предвидения оператор неизбежно станет перед рядом неожиданностей, внезапностей, станет перед необходимостью менять свои предположения в непредвиденном направлении, менять их в трудной обстановке войны. Признание метода диалектического материализма обязывает не только к тому, чтобы предупредить о неизбежной изменчивости всех существующих норм и положений тактического использования средств борьбы. Это признание обязывает и к тому, чтобы дать понимание необходимости *тактического предвидения,* к тому, чтобы развить *умение* предвидеть. Нетрудно понять, что в основе умения тактического предвидения лежит знание истории вещей, истории боевых средств. Каждый отдел тактики на высших ступенях ее исследования и изучения должен даваться не в „стабильном“ положении, а с обязательной перспективой прежнего и возможного будущего развития. История оружия, история организации, история боевых порядков — необходимые составные части научного исследования по тактике. Без них такое исследование неизбежно принимает вид сборника более или менее удачных рецептов, имеющих весьма относительную ценность. К сожалению, мы должны признать, что в такой именно

форме и в таком именно виде исторический элемент почти не находит себе места в тактике. Исторический элемент представлен в виде так называемых исторических примеров, обычное назначение коих состоит в том, чтобы подтвердить правильность высказанных поучений. При этой манере исторические примеры принимают характер „притчи“, свидетельствующей о том, как в бою наказывается порок (обычно — измена вечным и неизменным принципам или просто принципам), и как вознаграждается добродетель (верность им). Мы полагаем, что одной из основных методологических задач в области тактики, задач, вытекающих из диалектического и материалистического подхода к ней, — является повышение удельного веса *истории вещей*, с временным понижением роли и места *истории людей*.

III.

„Насилие не есть просто волевой акт, но требует весьма реальных предпосылок для своего совершения, именно некоторых орудий. Эти орудия должны быть произведены. Производитель более совершенных орудий насилия, или попросту оружия, побеждает производителя несовершенного оружия. Таким образом победа основывается на производстве оружия, а последнее на производстве вообще, следовательно, на „экономической силе“, на „экономическом положении“, на „материальных средствах, которыми может располагать сила“. Так писал Ф. Энгельс в Анти-Дюринге (цит. по русскому переводу, стр. 148). Далее Энгельс писал: „Ничто так не зависит от экономических условий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия прежде всего зависят от достигнутой в данный момент ступени развития производства и от путей сообщения. Не „свободное творчество разума“, не гениальность полководцев действовали в этом направлении преобразующим образом, но изобретение улучшенного оружия и изменение солдатского материала; влияние гениальных полководцев самое большее ограничивается тем, что приспособляет ведение войны к новому оружию и новым борцам“. (Там же.) Интересно отметить, что такого же взгляда еще до Энгельса придерживались общепризнанные в военном мире авторитеты. Наполеон говорил: „Свойства оружия определяют состав армий, выбор плана кампании, организацию маршей, расположение на

позиции, на отдыхе и в боевом порядке, определяют план и профиль крепостей; все это производит все увеличивающуюся разницу между системой войн древних и современных".

„Суворов также относился очень чутко к усовершенствованию огнестрельного оружия. Когда в Итальянском походе 1799 года ему пришлось столкнуться с французской артиллерией, стрелявшей картечью на двойную дистанцию, вследствие принятия чугунных пуль, он немедленно изменил порядок наступления пехоты". (Предшествующая и эта цитата приведены из книги А. Свечина „Предрассудки и боевая действительность".) Мы нарочно сопоставили две последние цитаты с цитатами из Энгельса, чтобы показать, в какой мере тождественны выводы гениальных практиков военного дела, гениальных, благодаря своему „материализму", с выводами основоположников марксизма. Да и вряд ли кто решится, особенно после мировой войны, противоречить фактам и отрицать прямую зависимость между производственным уровнем и уровнем качественного и количественного развития оружия в данной стране. В процессе событий минувшей мировой войны материалистическому подходу научились далеко не марксисты; достаточно прочесть воспоминания лиц, руководивших вооруженными силами сражавшихся сторон.

Вся история оружия и его применения (история военного искусства и история войн) дают наглядные примеры существования и значения зависимости между техникой общей и военной.

В зачаточный период человеческой культуры техника общая слита с техникой военной. Камень служит первобытному человеку и как орудие труда и как оружие. С дальнейшим развитием техники и с все большим развитием начал разделения и специализации орудий, среди них выделяются орудия мирного труда (орудия борьбы с природой), орудия охоты (орудия борьбы с животными) и оружие в тесном смысле этого слова (орудия борьбы с человеком). В процессе этого развития на всех его ступенях не трудно уловить зависимость, существующую между различными видами орудий, при чем как раз на наиболее высоких ступенях эта зависимость становится наиболее заметной.

Для того чтобы иллюстрировать приведенные положения, остановимся на истории пехотного ружья (русской армии). С 1700 г. по 1843 год русская пехота вооружена кремневым

ружьем. Быстрый темп развития общей техники в XIX столетии отражается на развитии оружия, порождая ряд новых, более совершенных образцов оружия. После почти 150-летнего периода существования одного образца оружия наступает период частых перевооружений. В 1843 году кремневое ружье заменяется так называемым ударным, чем повышается надежность действия. В 1854 году ружье гладкоствольное уступает место нарезному, с более совершенной пулей, что повышает дальнобойность ружья с 300 до 1200 шагов. Далее последовательно вводятся (1856—1868—1869 гг.) все более совершенные образцы ружей, заряжающиеся не с дула, а с казны. Наконец, с 1870 года вводится прототип современной винтовки — однозарядная винтовка системы Бердана.

За 27 лет (1843—1870), в вооружении русской пехоты происходят более значительные изменения, чем за все предшествующее время ее существования. То же явление быстрой смены старых образцов оружия все более совершенными наблюдается и в артиллерии. Все они порождены быстрым темпом развития техники в XIX столетии. Техническое совершенствование оружия привело к изменениям не только в области техники его применения, но решительно во всех областях военного дела. Особенно заметно это всестороннее влияние роста техники сказалось в мировую войну, когда в процессе войны воевавшие стороны напрягли все свои промышленные экономические возможности. В частности, в области повышения дальнобойности артиллерии весьма заметна зависимость решения этой задачи от общих технических данных. Для повышения дальнобойности необходимо увеличение энергии, сообщаемой снаряду при вылете из канала орудия, и уменьшение потери этой энергии на полете. Первая задача легче и проще всего разрешается усилением действия заряда. Однако, в свою очередь, это усиление практически осуществимо и допустимо только в том случае, если высокий уровень металлургии дает возможность выработки стволов орудий из стали высокой прочности. Там, где этой возможности нет, задача преимущественно, если не исключительно, должна решаться только вторым путем, а именно путем принятия мер уменьшения потери энергии на полете.

Состояние промышленности существеннейшим образом влияет на качество выделываемого оружия, его производи-

тельность и нормы его использования. „Статистика (мировой войны) говорит, что время изготовления орудий являлось основным фактором продолжительности службы орудия. Оказывается, что наибольшим средним числом выстрелов для орудий довоенного изготовления можно считать 6500 выстрелов, в то время как орудия, поступившие в части на службу на второй год войны, выдерживают только 4500 выстрелов. Орудия, поступившие в третий год войны, еще более снижают эту норму выстрелов; вследствие весьма резкого падения качества металла изнашиваемость этих орудий характеризуется почти в два раза меньшими числами по сравнению с орудиями довоенного времени". (Вл. Иванов. „Служба материальной части артиллерии по опыту мировой и гражданской войны". Стр. 38—39.)

Количество примеров можно было бы продолжить до бесконечности. Ограничимся только некоторыми указаниями. Легко вскрыть причины, породившие методы наступления на западноевропейском театре войны, и те данные, благодаря которым эти методы можно считать применимыми и осуществимыми только на этом фронте, легко вскрыть первопричины великого отступления русской армии в 1915 году. Легко понять, что если Красная армия, например, не имеет танков в таком количестве, в каком это нам бы хотелось, а у англичан роль и значение танков все расширяется, то причины этого явления лежат вовсе не в каких-либо идеологических предпосылках, а в соответствующем различии промышленных возможностей.

Влияние техники на организацию и методы боевого применения отчетливо заметны на примере так называемой групповой тактики.

Технический рост артиллерии и других средств поражения привел и приводит к все большему и большему расчленению, дроблению пехотных соединений. Вместе с тем рост техники позволяет обеспечить этим мелким расчлененным частям силу не меньшую той, которой обладали прежние более крупные соединения, при более слабой технике. Иными словами, техника вынуждает к расчленению и дроблению и вместе с тем делает это дробление возможным, осуществимым без срыва боеспособности расчлененных (раздробленных) частей. Сравним, например, батальон пехоты прошлого столетия с современным взводом. Ружья пехоты того времени обладали полезной даль-

ностью боя до 300 шагов, при скорости стрельбы 1 — $1^1/_2$ выстрела в минуту.

Батальон (1000 чел.) мог таким образом выпустить в минуту 1000 пуль, с расчетом поразить противника на расстоянии не большем, чем 300 шагов. Артиллерия обладала полезной дальностью боя до 800 шагов. До этого расстояния, следовательно, батальон мог двигаться и располагаться компактной, сомкнутой массой. В этом же строю он и сражался. Техника допускала такое сосредоточенное расположение. Техника же делала его неизбежным, ибо при расчленении так примитивно вооруженного батальона на части последние обладали бы совершенно ничтожной силой.

Современный взвод нашей, примерно, организации, при двух пулеметах и 30, примерно, действующих винтовках (всего около 45 чел.), выпускает в минуту до 1000 пуль, обладая способностью вести действительный огонь вплоть до расстояний 1500 — 1800 шагов.

Современная техника потребует при действиях на открытой долине расчленения роты и самостоятельного движения взвода сплошь и рядом уже с расстояния нескольких километров. Взвод в свою очередь должен быть расчленен по отделениям с расстояния дальности пулеметного огня, т.-е. $2^1/_2$ — 3 *км.* Но при современном развитии техники каждое такое отделение обладает вполне реальной огневой силой: 2 пулеметных отделения (18 чел.), немногим уступая батальону начала прошлого столетия по количеству выпускаемых в минуту пуль, колоссально превосходят его дальностью и меткостью огня. Техника потребовала расчленения, техника же сделала его возможным. Техникой же определяются размеры и состав первичного основного соединения пехоты. В соединениях, использующих так называемое групповое оружие (пулеметы), состав и специализация бойцов определяются свойствами используемого оружия.

Каждый лишний боец, не увеличивая силы отделения, затрудняет управление им, затрудняет маневрирование, увеличивает уязвимость. Техника определяет собой обстановку боя, его характер, условия и методы управления. Размеры и состав первичного организационного соединения, в том случае, если они не определяются непосредственно свойствами оружия, определяются требованиями обеспечения простейшего, а, значит,

и прочнейшего управления ими на поле боя. Мы видим, как с ростом техники состав этого соединения все уменьшается. Если в начале прошлого столетия можно было голосом и личным примером управлять полком и батальоном, то в середине столетия непосредственное управление батальоном стало затруднительным, если даже не сказать — невозможным. В качестве первичного соединения пришлось рассматривать уже роту. К концу же столетия таким соединением можно было считать только взвод. В мировую войну процесс, как и можно было предвидеть, пошел еще дальше. В современном техническом бою, так, как сто лет тому назад управляли тысячей человек, можно управлять менее чем десятком человек.

Все это в свою очередь меняет объем и характер требуемых от командиров различных ступеней и от бойцов — боевых качеств.

Боец тупой, покорный воле командира, теряющийся при необходимости самостоятельно действовать, для современного боя непригоден. Современная техника требует квалифицированного рабочего войны, с определенной психологической установкой, определенными психическими качествами и навыками.

Вместе с тем каждое техническое средство „формирует" психологию бойца, порождает у него определенные психологические процессы, определенные рефлексы. Каждое техническое средство порождает определенные рефлексы у бойцов, пользующихся им, и у бойцов, подвергающихся его воздействию.

В полемике „духовников" (т.-е. придающих наибольшее значение „духу" армии) с техниками, идеалистов с материалистами, первые часто приводят мнение, выраженное Наполеоном, что успех боя на три четверти зависит от морального элемента. Они забывают, что этой цитатой, кстати, не совсем верно переведенной с французского, мнение Наполеона о военном искусстве не исчерпывается. Не кто иной, как Наполеон, отлично понимал, что сам-то моральный элемент на три четверти, если не более зависит от материальных данных. Достаточно вспомнить его знаменитое обращение к бойцам итальянской армии. Во всяком случае, независимо от того, удачно или неудачно сформулирована Наполеоном зависимость между моральным и материальным фактором, неизбежно встает вопрос, от чего же зависит сам моральный фактор,—от каких-то невесомых, сверхъ-

естественных данных или же от данных вполне естественного, материального порядка? [1]

Психология (дух) бойца изменчива. Она слагается из переменных элементов. Один и тот же человек под действием различных технических средств в различной боевой обстановке проявляет подчас диаметрально противоположные психические качества.

Метафизическое противопоставление духа и техники, если оно не выходит за пределы отвлеченного „философского" спора, дело праздное, бесполезное. Если же это противопоставление пытаются приложить к практической деятельности, неизменно приходят к резко отрицательным результатам. Между этими двумя факторами, материальным и моральным, существует взаимная неразрывная зависимость, исключающая возможность обособления и противопоставления. Практически вопрос сводится к выявлению реального влияния техники на психику бойца, выявлению психических качеств, необходимых для современного боя, необходимых, чтобы боец мог использовать свои технические средства, не теряя боеспособности под враждебным воздействием техники противника.

Как раз в тех областях, где влияние техники наиболее сильно, наиболее отчетливо выявляется реальная постановка вопроса в психологии. Мы говорим об объеме и характере „психологических" данных, которыми определяется боепригодность военного летчика.

---

[1] Здесь зависимость „морального" фактора от материального понимается автором слишком узко. Несомненно, огромное влияние на моральное состояние воюющих армий, на их „дух" имеют *осознанные цели войны*. Наполеон хорошо был знаком с *этим* моральным элементом, ибо начал свою военную карьеру с *революционными* войсками, которые противопоставлялись вымуштрованным автоматам коалиции. Воодушевление Красной армии в эпоху гражданской войны или революционной китайской армии — явления такого же порядка. Но и здесь, конечно, нет никакой поживы для „идеалистов", ибо высокий „моральный дух", характеризующий армии воюющих за свое освобождение классов или угнетенных наций коренится в конечном счете в экономических, т.-е. материальных интересах. — Огромное значение имеет в создании нужного „морального элемента" и соответственное политическое воспитание. Но даже, в том *буржуазном* „оборонческом" патриотизме, который охватил в начале мировой войны значительные группы европейских рабочих и в воспитании которого сыграли такую позорную роль с.-д. партии, действовали на массу в конце концов ложно понятые экономические интересы...

Прим. ред.

Создание учения о военной (боевой) психофизиологии и рефлексологии — одна из очередных, важнейших и труднейших задач в области военного знания. Эта задача тем более важна, что, пожалуй, ни в какой другой области военного знания не гнездится столько мнимо-научного невежества, столько предрассудков и заблуждений, как в области так называемой „военной психологии". Нужна систематизация и обработка опытного материала, выявляющего действие современной техники на психику бойца и зависимости производительности техники от уровня психической подготовленности бойца к ее использованию.

В заключение коснемся вопроса, кажущегося на первый взгляд весьма отвлеченным, не имеющим непосредственного практического значения. В действительности же правильное решение этого вопроса имеет значительное влияние на правильность оценки техники и целесообразных методов тактического ее использования. Очень часто в построении различных трудов по тактике соблюдается такая схема: выявляются свойства так называемых элементов, и в зависимости от этих свойств определяются способы и приемы наиболее целесообразного их использования.

Этот прием является в полном смысле слова метафизическим. „Пока мы рассматриваем вещи в состоянии покоя, безжизненными, каждую отдельно рядом и одну подле другой, мы не наталкиваемся на какие-либо противоречия в них. Мы находим в них известные свойства, которые частью общи, частью различны, даже противоположны, но в таких случаях они распределены между различными вещами и, следовательно, не заключают в себе никакого противоречия. Поскольку это поле наблюдения оказывается достаточным, постольку удовлетворяет и обыденный метафизический метод мышления. Но совсем иначе обстоит дело, когда мы начинаем рассматривать вещи в их движении, в их изменении, в их жизни, во взаимном их воздействии одной на другую. В этом случае мы тотчас же впадаем в противоречие". (Ф. Энгельс. Анти-Дюринг, стр. 120 нем. оригинала.)

Ошибка мышления при таком выявлении свойств проистекает из двух причин: во-первых из того, что „элемент", свойства которого выявляются, берется оторванно от других элементов, в постоянном взаимодействии которых только и мыслимо

его действие, и, во-вторых, из того обстоятельства, что сами свойства подобные исследователи склонны рассматривать, как нечто неизменное. В действительности же ни один из так называемых боевых элементов постоянными свойствами не обладает. Если взять определенные боевые средства, пулеметы, танки, то теоретически можно выявить предельные их возможности. Свойства же их будут подвергаться неизбежным постоянным изменениям. Одними свойствами обладает пулемет, только-что выпущенный с завода и не выпустивший ни одной пули. Другими будут его свойства после того, как он выпустит несколько сот пуль. Наконец, иными будут эти свойства при различных условиях стрельбы. Если взять танк, то он будет обладать совершенно различными свойствами при действиях на западно-европейском театре и при действиях хотя бы на крайнем севере нашего Союза. Здесь именно лежит большое практическое значение вопроса о конкретных особенностях боевого применения различных видов оружия в конкретных условиях времени и места. От метафизического построения тактики, когда от выявления свойств переходят к выявлению форм и методов предельного использования их, теория тактики должна перейти к выявлению предельных технических возможностей, к выявлению конкретных, но изменчивых свойств в конкретных же условиях обстановки при учете всех ее особенностей. Требование конкретности должно лежать в основе всей методологии тактики. Для успешности и целесообразности применения определенных тактических методов и приемов необходимо конкретное знание и понимание определенной материальной базы, порождаемой ею военной техники, современного „конкретного“ человека и „конкретных“ условий времени и местности, в которых будет действовать этот человек и будет применяться данная техника.

На ряду с этим необходимо умение предвидеть и своевременно учитывать количественные и качественные изменения в технике и их прямые и косвенные последствия в области организации, подготовки и применения войск.

А. А. СВЕЧИН.

ЭВОЛЮЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ.

ЛЛОЙД.

С древнейших времен каждому полководцу приходилось разрешать стратегические проблемы, выдвигать определенные стратегические цели, избирать известную линию стратегического поведения. Каждый историк, исследующий военные события, начиная с Фукидида, должен был вырабатывать определенный угол зрения, под которым он анализировал стратегические вопросы войны и оценивал принятые стратегические решения. Но для попытки подняться от оценки частных конкретных фактов к уяснению общих теоретических представлений в области стратегии человеческая мысль оказалась достаточно зрелой лишь во второй половине XVIII века, после того как просветительная философия выдвинула в различные отрасли социологии ряд смелых пионеров, от основоположника философии истории Вико до создателя политической экономии Адама Смита включительно.

Армии XVIII века являлись армиями династическими, а не народными; XVIII век являлся эпохой кабинетных, т.-е. чисто правительственных войн, не связанных ни с широкими национальными, ни с классовыми интересами.[1] Разрушение отживших политических форм, облегчающее нарождение нового строя, не являлось задачей войн XVIII века; эти войны, пре-

---

[1] С этим положением в такой безусловной форме вряд ли можно согласиться: „династические“ армии служили тем же классовым интересам, выражением и организацией которых являлись и абсолютные правительства XVIII в. А некоторые из европейских войн были лишь эпизодами той упорной вооруженной *борьбы за колонии*, какая велась между Францией и Англией. Несомненно также, что войны русского самодержавия в XVIII в. велись в интересах торгового капитала. Но эта экономическая классовая подоплека не сознавалась философами-просветителями.

Прим. ред.

следовавшие цель расширить пределы одного государства за счет пограничной провинции соседнего государства, получали резкую отрицательную оценку со стороны представителей философской и научной мысли; войны вносили в цивилизацию только хаос, уничтожали материальные ценности, задерживали развитие гуманности — и этой ценой достигалось лишь изменение начертания государственных границ. Господствующие классы Англии и Франции, обоих государств, стоявших в XVIII веке во главе умственного развития Европы, имели и особые причины для снисходительной недооценки роли вооруженного насилия: Англия воевала преимущественно путем раздачи субсидий и найма войск мелких германских князьков; Франция же, несмотря на свое экономическое и культурное развитие, в условиях старого режима, становившегося уже пережитком, в XVIII столетии несла одно унизительное поражение за другим.

Первый теоретик стратегии, Генрих Ллойд (1729 — 1783 г.), по своей жизни и служебной карьере являлся типичным представителем XVIII века и его оторванного от национальной почвы мышления. Англичанин по рождению и воспитанию, получивший высшее образование в том же учебном заведении, в котором сформировалась мысль и его знаменитого современника Адама Смита, Ллойд пишет в молодости трактат о человеческих страстях, в котором он выступает, как убежденный последователь философии сенсуализма. Затем он отправляется на континент Европы, где выполняет, повидимому, некоторые разведывательные задачи для английского правительства. В начале Семилетней войны Ллойд поступает на службу в австрийский штаб, несмотря на то, что Австрия находится во враждебной Англии коалиции; в течение той же войны Ллойд переходит на службу в противоположный лагерь, в прусский штаб; затем мы встречаем Ллойда в чине русского генерал-майора, подающего Екатерине II и Потемкину ряд идей о военной реформе, в значительной степени учтенных Потемкиным. Служебная карьера его закончилась неудачно, вследствие подозрительных для русских сношений Ллойда с английским посланником.

Последние годы жизни Ллойд прожил в Бельгии, получая крошечную пенсию от английского правительства, и умер в нищете. Вся его жизнь являлась как бы настойчивым сбором материалов для стратегического труда. Ллойд, лично изучи-

вший важнейшие армии, действовавшие в Семилетней войне, лично участвовавший в ней в различных лагерях, тщательно зарисовывавший все поля сражений, на которых ему приходилось бывать, заносивший в свой дневник наблюденные на войне факты, поставил перед собой задачу — написать историю Семилетней войны. Казалось бы, что Ллойд мог себя считать достаточно подготовленным для роли историка этой войны. Но он, чтобы выдержать в намеченном историческом труде научную точку зрения, счел необходимым отдать себе предварительный отчет во взглядах на основные вопросы военного искусства, в частности, стратегии. Ллойд вырабатывал, в сущности, только теоретические основы для критики существовавшего в эпоху Семилетней войны военного устройства, для критики минувших событий. Но критика, направленная на прошлое, является и наукой для будущего. Введение Ллойда к истории Семилетней войны, первый ее том, и представляет первую попытку теоретического освещения стратегии; последнего термина Ллойд еще не употребляет. Мы можем указать еще на двух крупных военных мыслителей, эрцгерцога Карла и Виллизена, которые создали свои стратегические теории, как введение к написанным ими историческим трудам: эрцгерцог Карл — по кампании 1796 г. в Германии, Виллизен — по русско-польской войне 1831 года. Всякий крупный военно-исторический труд представляет, прежде всего, изложение цельного, продуманного мировоззрения на вопросы военного искусства, и в этом и заключается его значение. Военно-исторические работы, относящиеся лишь нейтрально к спорным вопросам военного искусства, или, без борьбы и проработки, просто примыкающие к господствующим взглядам на военное дело, могут представлять дельную разработку архивного материала, но научно-историческим трудом не являются...

Ллойд возмущался различными пережитками, засаривавшими военное искусство, и настаивал на рационализации во всех областях военного дела: солдатская одежда должна отвечать требованиям санитарии и гигиены на походе, а не красоты и парада; ремонтирование конницы должно производиться быстрыми, крепкими, хотя бы и не крупными лошадьми, удовлетворяющими требованиям похода и боя, а не мастодонтами, не проворными в своих движениях и не могущими существовать вне конюшенных условий; солдатское ружье должно быть ра-

ционализировано; перестроения должны быть упрощены под углом зрения кратчайшего разрешения задач, выдвигаемых боем. Устройство вербованных армий и методы ведения войны XVIII века Ллойд рассматривает, как определенную данную; для этих вербованных армий, довольствующихся исключительно из магазинов, лишенных возможности удалиться от последних на расстояние, превышающее 5 переходов, Ллойд и создал свою теорию стратегии.

Ллойд был далеко не очарован могуществом современных ему армий; он ясно видел их слабую сторону, зависимость от подвоза, неспособность преследовать крупные отдаленные цели; Ллойд с философским презрением убеждает читателя, что эти армии не совершат большие дела: они не внесут революции в установившийся строй европейского равновесия, не совершат крупных завоеваний. Они слишком тяжеловесны; они не могут свободно передвигаться; операционная линия — дорога от исходной точки, крепости-магазина, к объекту операций, не может быть длинна; от магазина к армии по этой операционной линии должны непрерывно циркулировать транспорты со снабжением, без которого современные армии не могут жить. Если противник забудет, что он сидит на пятипереходной цепи, и попробует уйти от своих магазинов дальше, то и большое количество обозов не спасет его: достаточно будет обойти его фланг и произвести несколько нападений на следующие по операционной линии транспорты, потрясти пятипереходную цепь, на которой привязан неприятель, чтобы неукоснительно иметь успех против зарвавшегося неприятеля и заставить последнего осадить назад. Огромное значение имеет легкая конница, не связанная подвозом с тылом; нападая на хлебопекарни, устроенные наступающим, на его хлебные и мучные транспорты, легкая конница вызовет голод и разложение в неприятельских рядах. К этому и надо стремиться; главные силы могут и не вступать в сражение; их роль при обороне — заставлять армию противника держаться сосредоточенно; этой цели главные силы обороны достигнут лучше всего, переходя с одной укрепленной позиции на другую; противник не посмеет пройти мимо; лучше всего — давить на неприятельские сообщения. Теоретические взгляды Ллойда, между прочим, легли в основу организации и развития Потемкиным казачьих войск. Это — философия Семилетней войны, войны, которая велась Фридрихом Великим

на измор, войны, в которой Пруссия оборонялась и в окончательном счете победила, войны, начатой чрезвычайно энергично, с четырьмя большими сражениями в начальный, 1757 год (Прага, Колин, Росбах, Лейтен), и законченной не сражениями, а преимущественно бескровным маневрированием против неприятельских сообщений и позиционным сиденьем.

Ллойд отдает явное преимущество обороне перед наступлением. Это чрезвычайно типично для XVIII века. Уважающий себя мыслитель, в окружении философских идей и энциклопедистов, не мог держаться иной точки зрения. Карта Европы, за полтора столетия, истекшие от окончания 30-ти летней войны до сдвигов, произведенных французской революцией, подверглась только детальным изменениям, за исключением разделов Польши, встретивших общее осуждение незаинтересованных в этом политическом разбое стран. Устойчивость существующих государств, несмотря на ряд длительных войн, европейская мысль приветствовала, как крупное достижение, обеспечивающее преемственность экономической и культурной работы сменявшихся поколений. Искусство обороны для XVIII века было равносильно искусству защиты культуры, искусство нападения расценивалось философией приблизительно как разбой. Это господствующее в XVIII веке оборончество, предъявлявшее внешней политике и военному искусству негативные требования, консервативное по своей сущности, вытекавшее из кажущегося отсутствия связи между кабинетными войнами и комплектованными люмпен-пролетариатом армиями, с одной стороны, и интересами широких масс буржуазии и крестьянства — с другой,[1] ярко отражалось и на военном мышлении. Знаменитый французский инженер Монталамбер озаглавил свой одиннадцатитомный труд, как „искусство обороны, торжествующее над наступлением". Преемник Ллойда, как стратегического мыслителя, Бюлов громил наступление, как разбой, грабеж, воровство, которое в малом масштабе наказуется, а в большом — увенчивается лавровыми венками, фимиамом поэтов, статуями и храмами: „Военное искусство мне дорого, как эгида без-

[1] Если бы в настоящую минуту в Китае не имело место революционно-национальное движение, то культурный китаец, вероятно, наблюдал бы с таким же презрительным отрицанием схватку между двумя группировками милитаристов, с каким европейские философы следили за ходом кабинетных войн XVIII века.

опасности и свободы, и моим долгом является заниматься им, поскольку я убежден, что у меня есть идеи, как сделать бесплодным наступление, посредством повышения искусства обороны".

Поскольку единственной целью и результатом войн XVIII века являлось изменение существующих государственных границ, Ллойд, а за ним и Бюлов, уделяют в стратегии большое значение исследованию вопроса о границах. Ллойд выдвигает идею естественной границы, дающей обороне решительный перевес над наступлением. Смысл происходящих войн — это постепенная шлифовка государственных границ, постепенное достижение государствами Европы их естественных пределов, имеющих чудодейственные оборонительные свойства, усовершенствование политической карты Европы, приближение ее к тому идеалу, когда всякая наступательная война станет уже невозможной; войны, в конечном результате, должны привести к политической стабилизации Европы и упразднить самих себя. Бюлов даже вызывался обрисовать эту будущую идеальную карту Европы.

Другая характерная для Ллойда черта заключается в утрированном материалистическом подходе к военному искусству. Здесь он являлся типичным мыслителем XVIII века. Сенсуализм переносил центр тяжести философии на почву психологии, чтобы доказать отсутствие у человека врожденных идей и построить перед нами весь внутренний образ человека на основе воспринимаемых им физических ощущений; он блестяще оперировал с представлением мыслящей статуи, у которой внезапно нарождаются осязание, обоняние, зрение, слух, вкус, и которая в таком случае должна была бы явиться точным подобием человека. Но на этом „человеке" XVIII век ставил точку. Он не переходил в своем исследовании от физических к общественным ощущениям и не задавался вопросом, при каких условиях эта ожившая статуя оказалась бы мыслящей и ощущающей себя, как феодал, или как буржуа, или как пролетарий, в каких случаях эта ожившая статуя способна была бы проявить человеческое величие или человеческую слабость. Материальные основы для анализа этих вопросов дал только XIX век. Исследователь XVIII века не отрывался от непосредственных, физически-материальных данных, опасался области, элементы которой не поддаются ни измерению, ни взвешиванию, которая представлялась ему иррациональной. Как человек

укрывает постыдные части своего тела, так ученый XVIII века стремился набросить покрывало, изъять из своего поля зрения важнейшие, по нашим представлениям, моральные вопросы.[1]

Ллойд уделяет военной психологии огромное внимание; он анализирует, например, влияние музыки и женщин на солдата; он уясняет, каким рядом материальных воздействий на солдата можно повысить его моральную устойчивость. Он признает, в соответствии с Монтескье, что деспотическое, конституционное или республиканское устройство государства накладывает на его граждан определенный отпечаток; что русская, французская, прусская, австрийская армия имеют, каждая, свой моральный облик. Но этот моральный облик для мыслителя XVIII века является твердой данной, в которой он не допускает никаких изменений, так как самой возможности научно манипулировать изменяющимися величинами он не видел. Вне внимания Ллойда находятся не только национальные или классовые сдвиги; Ллойду непонятно, что в одних и тех же численных условиях выход на неприятельские сообщения иногда может представлять разумный риск, в других же явится подставлением войск на верное поражение; что 20 тысяч солдат представляют совершенно различную величину, смотря по тому, являются ли они победителями или побежденными; что корпус войск может представлять, как образно выразился впоследствии Клаузевиц, готовый к извержению или же потухший вулкан. Эта диалектика была недоступна стремившемуся научно мыслить XVIII веку...

Историческое мышление не вышло еще в XVIII веке из юношеского возраста; методы исторической критики были чрезвычайно несовершенны. Наоборот, математика, с ее точностью, пользовалась среди других наук особенным почтением. Нарождавшаяся военная наука напросилась и была зачислена в группу наук математических. Плохо понятый материализм заставлял военных (де-Линь) утверждать, что успех на войне

---

[1] Это не совсем точно. Именно материалисты XVIII в. много занимались и вопросами морали и вопросом о влиянии *среды* на человека. Но им в значительной мере чужда была *идея развития*, и они оперировали понятием о „природе“ человека, которая была для них величиной постоянной. В этом отношении, действительно, под влиянием французской революции, XIX в. внес нечто принципиально новое.

Прим. ред.

зависит от доступных измерению величин. Военное искусство подверглось нашествию математики. Ллойд видел в ней необходимость для кавалериста, чтобы последний мог подсчитать, в каком случае получается большая живая сила удара — при атаке на малорослых, но резвых лошадях, или при атаке на массивных, но медленных в своих движениях конях. Вентурини издал „математическую систему военного искусства". Немецкая энциклопедия отнесла историю военного искусства Хойера к группе математических трудов. Эрцгерцог Карл, как и Бюлов, стремился излагать положения стратегии в виде геометрических теорем. Дисциплины, связанные с военным делом, включающие математические вычисления, как например топография, получали несоответственное развитие. Это было настоящее бедствие, следы которого во Франции остаются и в XX веке. Когда-то Платон очистил математику, изгнав из ее пределов механику, которая приютилась в древности в рамках военного искусства. Конец же XVIII века пытался вложить военное искусство в жесткие рамки математического изучения. Забыто было поучение Паскаля о том, что „Геометры люди не тонкие и не видят дальше своего носа; привыкнув к ясным и грубым принципам геометрии, они могут рассуждать лишь на основе твердых данных и при возможности применять свои принципы; они теряются, если вопрос требует тонкого мышления, где нужен другой подход к принципам". А вопросы военного искусства безусловно требуют тонкого мышления и относятся к числу тех, о которых Паскаль говорит: „Почти нет ничего верного или неверного, что не меняло бы своего значения с изменением климата. Три градуса изменения широты опрокидывают всю юриспруденцию. Истина зависит от меридиана. Милое право, ограничиваемое горой или рекой! Истина по одну сторону Пиренеев, ошибка — по другую их сторону"... Общий характер мышления XVIII века, подчеркнутый геометрическим подходом к военному искусству, исключал для первых творцов стратегии возможность использования методов диалектической логики. Мы найдем лишь слабые проблески диалектики у гениального, неуравновешенного Бюлова.

Мы остановились столь подробно на характерном для XVIII века представителе теоретического мышления в области стратегии Ллойда потому, что без ясного понимания этого первого теоретического ростка стратегии нам останется не-

понятной вся ее дальнейшая эволюция и, главным образом, Клаузевиц, заслуги которого как раз и заключаются в освобождении нашего военного мышления из тесных рамок XVIII века.

Лойд — мыслитель XVIII века до мозга костей, со свойственными этому мышлению механизацией и рационализмом, со всеми вытекающими плюсами и минусами. Ему удалось отказаться от представления о течении военных действий, как о некоем хаосе, и установить отправные точки теории стратегии. Его теория, задуманная, как теория Семилетней войны, являлась во многом верной для условий этой войны. И сейчас еще многие замечания Лойда поражают нас своей меткостью и стремлением автора строго научно подходить к вопросам военного искусства. Но у Лойда не было никакого представления исторической эволюции; диалектика ему была совершенно чужда. Между тем, его учение было провозглашено как догма, пригодная на вечные времена; жизненный поток должен был опрокинуть ее уже в ближайшем будущем.

Мы подошли к трудам Лойда с масштабом мышления совершенно другой эпохи; это было бы несправедливо, если бы мы видели нашу задачу в том, чтобы осуждать или раздавать лавровые венки мыслителям прошлого. Но мы далеки от того, чтобы выставлять экзаменационные отметки прошлому, к которому относится Лойд, и лишь стремились понять его, чтобы углубить представления сегодняшнего дня.

БЮЛОВ.

Следующее уже за Лойдом поколение оказалось лицом к лицу с новым обликом, который приняли военные события под влиянием французской революции. Эти события толкали на коренную ревизию военной теории. Таковая, однако, оказалась не под силу современникам революции. Талантливейший из них, Генрих Дитрих Бюлов (1760 — 1806 гг.), находился еще в плену теории Лойда, еще стоял на почве мышления XVIII века, вносил от себя лишь отдельные поправки и потому был обречен роковым образом разойтись в основных вопросах с новым бытием войны. Другой глубокий военный мыслитель, современник революции, Беренхорст оказался вовсе не в состоянии охватить новые явления военного искусства и перешел к прямому скептицизму, отрицанию военного искусства в целом.

Бюлов, аристократ, прусский офицер, был увлечен идеями французской революции, порвал со своей родней и армией, принял личное участие в неудачном восстании в австрийской Бельгии, пытался заняться коммерческими делами, путешествовал по Соединенным Штатам Америки, долго жил в Англии и Франции, обратился в представителя богемы, деклассированного памфлетиста. Он не принимал участия в войнах революции и наполеоновских ни на одной стороне: революционные нотки в сочинениях Бюлова заставили Наполеона выслать последнего из Франции; а в Пруссии подозрительно смотрели на поклонника революции и Наполеона. Отдаление, с которого Бюлов был вынужден следить за ходом новейших войн, конечно, затрудняло ему их понимание. Мысль его не успела еще окончательно созреть: в 1806 году он находился, очевидно, на переломе своих воззрений; арестованный по требованию русского посланника в Берлине за резкую критику русского командования в 1805 году, Бюлов умер на пути в Рижскую тюрьму, не успев привести в систему опыт наполеоновских войн.

Бюлов уделяет уже значительное место размышлениям над историей, и отдельные его исторические замечания поразительны по своей глубине. Но в основном это еще мыслитель XVIII века; наполовину он еще держится геометрического метода изложения, но наполовину он уже диалектик, ученик не материалистов-просветителей, а Жан-Жака Руссо. Бюлов уже не рассматривал войну, как нечто самодовлеющее; вслед за Руссо он повторял, что причины поражения на поле сражения надо искать на родине. В его представлениях война является только надстройкой, фундаментом коей является мир; стратегия — термин, созданный Бюловым, — несвободна в своих решениях: „политическая стратегия относится к военной стратегии, как последняя — к тактике“. За внешним фасадом стратегических маневров скрываются другие силы; он еще проповедывал геометрическую стратегию, но силу Наполеона видел не в том или ином геометрическом начертании его операций, а в его союзе с завоеваниями революции: пока Наполеон не порвет окончательно с республиканцами, он будет непобедим.

Важнейший вклад Бюлова в теорию стратегии — это представление о базе. Условия базирования войск, исходное положение, подготовленное для армии в годы мира, в связи с географическими условиями пограничного театра, имеют капи-

тальную важность для ведения военных действий. Понятие базирования, опорных точек борьбы, очень глубоко и широко; всякая борьба является, в известном разрезе, только надстройкой над опорными точками борющихся сторон. Многие замечания Бюлова указывают на то, что он охватил понятие базирования во всей его широте; но в основном своем труде Бюлов толкует базу преимущественно геометрически, как линию, соединяющую пограничные крепости-магазины.

В XVIII веке войны велись ограниченными в своем размере армиями; за массами не гнались, так как результат сражений зависел не столько от превосходства в числе, как от искусного маневрирования; линейный боевой порядок являлся, за пределами 30 — 40-тысячной армии, слишком хрупким; довольствие из магазинов, при подвозе гужевым транспортом, также исключало сбор на поле сражения больших масс; XVIII век делал ставку на маневренную выучку, а не на количество. Многочисленная армия являлась в особенности обузой в тех случаях, когда бой отходил на второй план и операция решалась бескровным маневрированием.

Все эти предпосылки скромных по размеру армий XVIII века отпали в эпоху французской революции, выдвинувшей на первый план массы и передавшей им на войне решающую роль. Это обстоятельство было учтено Бюловым, который отвел значению масс надлежащее место в теории стратегии. Чтобы использовать надлежащим образом массы, необходимо в кратчайший срок, с началом войны, закончить их „стратегическое развертывание“; этот Бюловский термин удержался в немецком и русском языке; в противоположность термину Наполеона „стратегический сбор“ и термину Жомини „стратегическое сосредоточение“, Бюловское „стратегическое развертывание“ разумеет не нагромождение на тесном пространстве назначенных для военных действий сил, не постановку одних войсковых групп в затылок за другими, а вытягивание их на достаточно широком стратегическом фронте.

Необходимость широкого фронта в стратегии Бюлов подчеркивает при каждом удобном случае; характерно для Бюлова требование организовывать отступление эксцентрично, так, чтобы отдельные группы расходились при отступлении в разные стороны; преследующая армия будет поставлена таким образом в условия стратегического охвата, и из нашего отступления

непосредственно создадутся предпосылки для нажима на сообщения неприятеля. Бюлов, таким образом, предполагает итти добровольно на стратегический прорыв нашего фронта. Типично для стратегического мышления Бюлова предложение деления главных сил на две группы, базирующиеся на удаленные друг от друга точки. При обращении неприятеля против одной из этих групп, перед другой группой открывается возможность удара на сообщения противника. Эта мысль легла в основу нашего плана войны в 1812 году, с базированием 1-й армии на Двину у Дриссы, и 2-й армии — на Бобруйск и Березину. В основе этого мышления Бюлова лежит отказ в признании за боем значения единственного решающего фактора; наравне с боем, и даже выше его, у Бюлова выдвигается маневр; Бюлов совершенно не воспринял еще происходившую на его глазах эволюцию от фридриховского измора, с предпочтением маневра, к наполеоновскому сокрушению, с решающей все экстраординарной победой на поле сражения.

Выдвигая значение масс, Бюлов несомненно колебал воспринятое им утверждение Лойда, что все операции можно предвидеть и рассчитать с геометрической точностью и что можно вести войну, не будучи никогда вынужденным вступать в бой. Массы, очевидно, могут сказать решительное слово только в процессе расходования войск на поле сражения; в быстроте маневрирования они обречены уступать малочисленному противнику. Выдвижение значения масс противоречит отрицанию значения боя. Это противоречие, как и многие другие, осталось неразрешенным Бюловым. Его учение находилось еще в стадии брожения. Во втором издании „Духа новейшей военной системы“, в 1805 году, Бюлов оспаривает многие положения, выдвинутые им в первом издании 1799 года.

Бюлов не сумел освободиться от оков мышления эпохи кабинетных войн; его теория стратегии представляет преимущественно теорию стратегии измора, с ясным предпочтением географических объектов перед живой силой противника. Сражение у Бюлова на втором плане; к сражению, по мысли Бюлова, часто обращаются лишь вследствие безграмотности генералов; излюбленными методами Бюлова являются занятие фланговых позиций, угроза неприятельским сообщениям и другие бескровные средства. Это верно для некоторых ступеней измора; но возводить эти положения в догму, вещать в год Аустерлица,

что сражения, после изучения генералами Бюловской теории, больше даваться не будут, было, конечно, ошибкой.

Революционер военной мысли, заклейменный тюрьмой, неблагонадежный стратегический мыслитель Бюлов в течение целого столетия после своей смерти представлял благодарную мишень для ослиных копыт. Идеи и терминология Бюлова обкрадывались особенно сильно писателями, нарочито насмехавшимися над его штатским подходом к стратегическому анализу.

КЛАУЗЕВИЦ.

Только следующее за Бюловым поколение подвело в теории стратегии итоги опыту революционных и наполеоновских войн. Мысль деятелей этого поколения разделилась. Священный союз и реакционные круги оказались связанными с защитой политического строя, установленного Венским конгрессом. Народилась эклектическая школа, характерным для коей явилось подчинение философской истины моральной полезности. В следующей главе мы ознакомимся с теоретическим творчеством Жомини, создателем соответственной официальной стратегической доктрины.

Установленная Венским конгресом политическая организация Европы имела противников, сила которых в течение XIX столетия непрерывно росла. Эксперименты революции и Наполеона по устройству новых государственных образований подорвали веру в разумность и незыблемость установленного политического деления Европы. Перед народами Европы, и прежде всего перед немцами, начала расти обширная задача национального объединения. Эмансипированная революцией буржуазия выдвинула идеал единой Германии, идеал, достижение которого было возможно лишь путем насильственного уничтожения существующих политических перегородок. Вооруженное насилие, в целях этого „святого“ дела, начало приобретать характер прогрессивного фактора. Военное искусство явилось для немцев средством достижения не только негативных, но и позитивных результатов. Военным целям наиболее отвечало государственное устройство Пруссии; только перед прусской армией открывались возможности мечом добиться установления германского единства; и как ни ненавистны были большинству немцев прусские порядки, популярность

этого полувоенного государства среди немецкой буржуазии непрерывно росла.

Под Иеной в 1806 г. Пруссия попыталась бороться, опираясь на качество, а не на количество армии, и была раздавлена. С тех пор она вступила на путь всеобщей воинской повинности, и удержала ее, несмотря на годы реакции и Священного Союза; угрожаемое положение в центре Европы и задачи по национальному объединению Германии не позволяли и думать отказаться от ставки на массы и на краткие сроки службы. Отсюда выливалась определенная линия политики: в момент национального кризиса после Иены это был призыв на кафедру в Берлин Фихте, первого немецкого социалистического мыслителя, профессора, изгнанного из провинциального университета за сочувствие французской революции и открывшего в немецком народе океан жизни и энергии для противодействия французам. Это были реформы Штейна, сохранившие смычку прусской государственности с крестьянством; эмансипация масс являлась предпосылкой успеха на вооруженном фронте. В промежуток 1855 — 1885 гг. Пруссия временами отступала от этой политики, считая свое положение обеспеченным. Но с франко-русским сближением опять для прусской политики на первый план выдвинулась необходимость привлечь к себе массы. Само государство вело социальную политику, предложенную „социалистами кафедры“ и воспринятую Бисмарком. Затем государство постоянно заигрывало и стремилось приручить, втянуть в свое лоно, социал-демократических лидеров. Последнему перед войной министру внутренних дел, Клеменсу Дельбрюку, бросали в лицо обвинение в том, что он разводит и поощряет социализм. Но министр знал, что он делал: измена заветам Маркса со стороны германской социал-демократии, голосовавшей 4 августа 1914 г. за военные кредиты, являлась громадной и исподволь подготовленной победой германской буржуазии. С этой политической линией сообразовались не только стратегические планы прусского генерального штаба, но и стратегические теории, развивавшиеся на германской почве.

В атмосфере горячего патриотизма немецкой буржуазии создалось мышление глубочайшего теоретика войны, Клаузевица; последний, конечно, не мог держаться извиняющихся за войну взглядов первых теоретиков стратегии. Клаузевиц по-

шел в ногу с общим течением европейской мысли XIX века. В мечтаниях эпохи Ллойда идеалы достигались путем появления доброго государя, оздоровлявшего нравы и дарившего конституцию; идеи эволюции и сопровождающей ее упорной борьбы были чужды дореволюционной эпохе. XIX век выдвинул, на смену консервативной мысли о сохранении политического равновесия, идею эволюции, смены одних форм другими, уборки с политической арены политических трупов; он усмотрел эту эволюцию в природе, в борьбе за существование отдельных видов, он усмотрел, что само возникновение государства неразрывно связано с насилием, что само государство есть организованное насилие одного класса над другим, что если целью права является мир, то само право является лишь результатом борьбы, известного соотношения сил. От великой французской и других революций человеческое мышление не могло уже столь презрительно отмахнуться, как отмахивалось оно от кабинетных войн XVIII века. А революция — это насилие; революционеры Энгельс, Маркс, явившиеся на смену просветителей минувшего столетия, признали революционную роль насилия...

Клаузевиц, вероятно, ознакомился с философией Гегеля в последние годы своей жизни. Но еще в первых своих трудах он обнаружил понимание исторической эволюции и направление мысли, работающей путями не формальной, а диалектической логики. Гегелианство Клаузевица является совпадением двух великих умов, развивавшихся в одну и ту же эпоху, переживших в одном лагере французскую революцию, господство Наполеона, уничтожение пережитков феодализма, выход буржуазии на широкую дорогу, реакцию.

Это совпадение представляет лишнее указание на тесную зависимость путей нашего мышления от внешних условий эпохи.

История в XIX веке получила пышное развитие. Клаузевиц много работал над историей. Он подготавливал себя к анализу происходивших на его глазах наполеоновских войн не путем изучения математики, или тонкостей топографии и ситуации, или мелочей военной техники, а путем самостоятельной разработки войн нового времени, начиная с 30-летней войны. Две трети его полного собрания сочинений представляют критические разборы войн XVIII века, революционных, наполеоновских; эти исторические этюды, чрезвычайно

ценные, предназначались Клаузевицем только для самоподготовки. Работы по XVII и XVIII векам представляли для выработки мышления Клаузевица большую важность, так как привели его к убеждению, что „каждая большая война представляет отдельную эпоху в истории военного искусства". Клаузевиц понял изменчивость и условность положений военного искусства: „Кто погрязнет исключительно во взглядах своего времени, у того всегда будет склонность считать за лучшее то, что является новейшим: способность к исключительным достижениям будет утрачена". Если XVIII век делил проявления военного искусства на хорошие и плохие, в зависимости, соответствуют ли они „вечным принципам" сегодняшнего дня, то Клаузевиц усмотрел в каждой эпохе свои предпосылки, с которыми приходилось сообразовать решения. Ведение войны до революции не было ни плохим, ни предосудительным, а отвечало характеру своей эпохи, определялось реальными основаниями. Какая глубина мысли по сравнению с насмешками над стратегией измора XVIII века, которые звучали еще столетие после Клаузевица!

Конечно, математические приемы изложения стратегии, бывшие в такой моде в начале XIX столетия, резко осуждались Клаузевицем. Абсолютный, математический подход к военному искусству не имеет под собой вовсе твердой почвы. Война — это акт человеческих отношений, это — разрешаемый кровью конфликт крупнейших интересов; теория войны, которая пыталась бы развиться в самостоятельную систему абсолютных выводов и правил, непременно должна провалиться при ближайшем практическом испытании. Теория Клаузевица — это преимущественно философское созерцание. Теория должна воспитать мысль будущего вождя или, вернее, руководить его самообразованием; так мудрый наставник руководит и помогает развиваться мышлению юноши, но не будет всю жизнь вести его на помочах. Кто хочет работать в атмосфере войны, должен забыть о том, что твердят книги. Кто будет искать вдохновения не в импульсе, даваемом моментом, а в готовых идеях, не переродившихся в его плоть и кровь, тот увидит свои построения опрокинутыми потоком событий еще прежде, чем они будут завершены.

Диалектика Клаузевица ярко развертывается в отказе от чисто военной точки зрения, в непризнании права на суще-

ствование таковой. Война — это только инструмент политики, это продолжение политических сношений, проведение политики другими средствами. Война получает свой характер от политики. Мощная и величественная политика создает таковую же войну; на этой высшей точке само военное искусство становится политикой, которая вместо посылки дипломатических нот дает сражения.

Вопросы экономики войны, мобилизации финансов, транспорта, промышленности в начале XIX века оставались еще в тени; значение тыла еще не выдвигалось на первый план. Поэтому было бы ошибочно в дискуссии по этим вопросам искать опоры у Клаузевица. Однако последний, по существу, признавал влияние экономики на стратегию; а в признании Клаузевицем стратегии функцией политики мы несомненно должны последнюю понимать в самом широком смысле, как концентрированную экономику; толкование Людендорфа, подразумевающего под политикой Клаузевица только внешнюю политику, противоречит всему духу трудов Клаузевица и может быть опровергнуто многочисленными цитатами из них.

Стратегическая мысль Клаузевица стремится к величайшему реализму; она ни на минуту не забывает, что на войне приходится действовать не бездушными шахматными фигурами, а живыми людьми, способными в одних случаях к величайшему напряжению, а в других являющимися позорно бессильными. Клаузевиц поэтому отказывается орудовать подсчетами, исходящими из условного допущения, что все люди одинаковы и что есть какой-то средний человек, которого может иметь в виду теория. Условный средний человек XVIII века, фигурировавший в теориях первых стратегов — механистов и рационалистов, позволял им избегнуть области, казавшейся недоступной для научного, рационального мышления, и упростить теоретическое изучение до исследования внешних форм стратегии. Внимание Клаузевица направлено на будущие войны, которые должны будут привести к объединению Германии; эти будущие войны могут оцениваться и вестись только как национальные, а не династические войны. Величие лозунгов, за которые идет борьба, и верная оценка моральных факторов являются непременным условием высоких проявлений военного искусства всех времен. Чисто Коперниковским приемом Клаузевиц переносит центр тяжести своего исследования с внешних форм

стратегии, которым Ллойд и Бюлов уделяли все внимание, на умышленно исключенную в XVIII веке область обсуждения — на моральные силы, приводящие в действие борющиеся стороны. Моральный элемент является основным для военного искусства, по мнению Клаузевица: война — это борьба за деморализацию противника.

Клаузевиц сам пережил бессилие государства старого порядка против моральных сил, выдвинутых французской революцией, и глубоко понял тщетность хитроумных маневров, когда приходится бороться с морально превосходящим врагом. Отсюда скептическое отношение Клаузевица к геометрическим формам маневра: „стратегическим и тактическим дурачествам" Клаузевиц противопоставляет энтузиазм народа, волю и упрямство вождей. Вопрос борьбы с Наполеоновской Францией Клаузевиц сводил не к ответному стратегическому маневру, а к подъему моральных сил, к организации широкого национального движения против Наполеона и французов.

С точки зрения моральных сил, движущих борющимися сторонами, Клаузевиц рассматривает и изучает всю стратегию и ее внешние формы. Сознание нашего превосходства, численного и морального, естественно выливается в стремление к сражению с перевернутым фронтом; оценивая риск той или другой операции, мы не можем итти геометрическим путем, устанавливая, по следам систематиков XVIII века, известные пространственные гарантии для безопасности наших сообщений; решающее значение принадлежит здесь моральным величинам.

В моральном состязании, представляемом войной, Клаузевиц отводит крупнейшую роль личности полководца. Значение купца, стоящего во главе предприятия, измеряется не только его искусством, но и кредитом, которым он располагает; точно так же для войны имеет огромное значение авторитет стоящего во главе полководца. „Как обелиск, к которому ведут все главные улицы города, в центре военного искусства стоит, господствуя над всем, твердая воля гордого духа".

Правильность замысла, концепции операции Клаузевиц считает всегда необходимой предпосылкой; но заслуга воли, осуществляющей этот замысел, для Клаузевица важнее, чем заслуга творчества замысла. У самого Клаузевица равновесие между волей и умом было безусловно нарушено в пользу последнего;

тем выше Клаузевиц ценил волю; надо опасаться ослаблять ее излишним рассуждением. „Во что обратится стратегия, если великие дерзания будут похоронены под горой затруднений, собранных во всем царстве предположений и возможного!“

Стремление Клаузевица не отрываться от жизни, не выносить вопросы стратегии в область абстракции, ведет к отказу от какой-либо схематичности, усложняет изложение, но и делает его крайне жизненным. Стратегия Клаузевица не может считаться с точным и гладким исполнением войсками замыслов; война — это область трения. Трения — это недостатки механизма, из-за которых теряются даром время и силы. Непривыкшая к войне армия должна считаться с большими трениями, как машина, только-что собранная, не отшлифовавшая еще своих частей в процессе работы. Устаревшая военная система может поглощать на внутренние трения почти всю даваемую энергию. О Пруссии 1806 г. Клаузевиц писал: „слышен шум машины, и никто не спрашивает себя, дает ли еще она полезную работу“.

Клаузевиц дал проникновенный анализ наполеоновских приемов войны. Весь свой талант он направил на характеристику стратегии сокрушения; между всеми целями, которые можно преследовать на войне, Клаузевиц постоянно подчеркивает господствующую над всеми цель — уничтожение живой силы неприятеля, необходимость выигрыша не ординарного сражения, а чрезвычайной победы, посредством охватывающего наступления или вступления в бой с перевернутым фронтом, что одно может позволить начисто сокрушить противника. Сокрушительное наступление, по Клаузевицу, должно развиваться без перерывов во времени, без каких-либо промежуточных этапов. Но наравне с этой традицией наполеоновского сокрушения, которую Клаузевиц истолковывает будущим поколениям, он замечает, что разнообразие конкретных случаев необычайно велико, и что в каждом частном случае надо принимать решение, не исходя из каких-либо теоретических положений, а исключительно из характерных для данного конкретного случая особенностей. Не в каждой войне сокрушение является вообще посильным, придется применять и противоположные методы действий. Творчество Клаузевица, его славословие боя, как единственного, важнейшего, решительного способа действий на войне, развивалось в борьбе со столь

не отвечавшим наполеоновским войнам тяготением Ллойда и Бюлова к бескровному маневру и к методам измора. Но под конец своей жизни Клаузевиц выразил намерение капитально переработать свой труд: все вопросы он предполагал осветить как под углом зрения требований сокрушения, так и с противоположной точки зрения — преследования на войне ограниченной цели, интенсивного и экстенсивного ведения войны: с одной стороны, стремление к быстрому решению, характеризуемому кровопролитным кризисом большого сражения; с другой стороны — выдержка, выигрыш времени, суммирование мелких успехов.

Хотя великие цели признавались Клаузевицем „душой войны", хотя Клаузевиц преклонялся перед сокрушением, он все же сумел остеречься от догматизирования наполеоновских приемов ведения войны. Лично им были составлены планы войны Пруссии с Францией в 1830 и 1831 годах. В 1830 г., когда можно было рассчитывать на союзников, Клаузевиц выдвигает сокрушительное наступление к Парижу; в 1831 году, при изменении политической обстановки в неблагоприятную сторону, Клаузевиц уже выдвигает план наступления с ограниченной целью — захвата Бельгии и перехода затем к обороне.

Оговорки Клаузевица относительно измора почти не замечались большинством его последователей — страстных поклонников сокрушения. Такой же неуспех, в среде наиболее горячих почитателей, имели мысли Клаузевица об обороне. В этом вопросе Клаузевиц оказался единомышленником Ллойда и Бюлова. Оборона признается Клаузевицем сильнейшей формой ведения войны; иначе, какой смысл был бы обращаться к обороне материально слабейшей стороне? XIX век считал такую трактовку обороны Клаузевицем ошибкой; „младотурки" французского генерального штаба, с Фошем во главе, даже исповедывали, что чем слабее мы материально по сравнению с противником, тем обязательнее для нас уравновесить нашу материальную слабость выгодами наступательного образа действий. Великий реалист, Клаузевиц, стремившийся строить свою теорию в полном соответствии с действительной жизнью, конечно, не мог разделять таких интеллектуалистических увлечений наступлением. Если Бюлов ограничивал возможности успешного наступления известным соотношением между удалением от базы и ее протяжением, которое он геометрически

выражал в виде объективного угла, то Клаузевиц выдвинул положение, что когда цель лежит за пределами сил наступающего, наступление переходит через свою кульминационную точку и быстро склоняется к закату; за кульминационной точкой наступления для неприятельской стороны создаются чрезвычайно благоприятные условия для перехода от обороны к наступлению; в этом переходе Клаузевиц видит главный смысл обороны и наиболее блестящее проявление военного искусства; действительность стратегической контр-атаки, в большинстве случаев, в своем размахе сильно превосходит первоначальный удар наступающего. Не видели ли мы во всем течении мировой войны подтверждения глубокой правильности этих взглядов Клаузевица? Не оправдалась ли его мысль полностью в стратегической контр-атаке Фоша в июле 1918 г., и поляков — в августе 1920 года?

Громадное большинство последователей Клаузевица считало его мысли об обороне ошибкой, явившейся в результате личного участия Клаузевица, в рядах русской армии, в походе 1812 года и переоценки его опыта — действительно поразительного успеха обороны над сокрушительным наступлением Наполеона, несомненно перемахнувшим у Смоленска за „кульминационный пункт наступления". Мы не думаем, что признание обороны сильнейшей формой ведения войны является ошибкой, по крайней мере в условиях Европы, не объятой революционным движением. Национальные и экономические заборы Европы имеют огромную историческую давность; они крайне затрудняют усилия наступающего нарастить свою мощь за счет людского материала и экономических ценностей оккупированного района. Наступление на европейской почве ослабляет, а не усиливает наступающего, если революционно-классовое движение не придет ему на помощь, позволив быстро усвоить и приобщить к своим силам население и средства захваченной неприятельской территории. В эпоху французской революции ее лозунги делали наступление сильнейшей формой ведения французами военных действий в Италии и на Рейне; но, начиная с 1805 года, стабилизировавшаяся Европа являлась уже театром с отчетливо присутствующим „кульминационным пунктом". Как видно из нашего очерка, стратегическая теория вскормлена исключительно на европейской почве; в азиатских условиях, чтобы не расходиться с действительностью, она,

вероятно, должна была бы получить иной облик; и посейчас, несмотря на мировую войну, мы имеем не мировую, а только европейскую стратегию. Мысли Клаузевица об обороне мы склонны считать „европеизмом", а не ошибкой.

За исключением немногих страниц, связанных с техникой начала XIX века, учение Клаузевица и посейчас в своем существе не устарело. Несмотря на связь мышления Клаузевица с идеализмом Канта, Фихте и Гегеля, отошедшим уже в прошлое, быть может, только XX век создаст достаточно развитого, подготовленного массового читателя, которому будет по силам диалектическая трактовка стратегии в труде Клаузевица, читателя, который не отвернется от него из-за отсутствия в нем готовых правил на все случаи жизни. В XIX веке Клаузевиц слишком обогнал развитие своей военной аудитории; перед ним больше преклонялись, чем читали и изучали его. Распространению учения Клаузевица препятствовали трудности перевода его на другие языки, не преодоленные вполне успешно до сих пор, а также незаконченное состояние его капитального труда „О войне". Различные его отделы развиты несоответственно; главы об обороне почти окончены, а о наступлении — очень кратки, местами только намечены. Сам Клаузевиц характеризовал свой труд несомненно слишком пессимистически, как „бесформенную груду мыслей". В незаконченности труда Клаузевица есть и огромный плюс: форма его — ростки отдельных мыслей — обратна форме догматической, законченного катехизиса, неспособного к развитию; догмы отбрасываются историей в сорную корзину, а ростки мыслей Клаузевица в глазах каждого нового поколения дают свежие побеги; трудность усвоения учения Клаузевица с избытком компенсируется его жизнеспособностью, доказанной историей.

ЖОМИНИ.

XIX век жил преимущественно стратегической мыслью Жомини, а не Клаузевица. Глубокий анализ Клаузевица был далек от всякого упрощенства. А Жомини (1779 — 1869 гг.) снизошел к своей аудитории. Это была аудитория Священного Союза, аудитория Николаевской России, в которой Жомини числился генерал-адъютантом, аудитория бурбонской реставрации во Франции. Выдающийся ум Жомини совпадал с его

удивительным оппортунизмом специалиста-наемника. Еще в молодые годы Жомини упорно колебался, кому продать свой стратегический талант — французской революции и Наполеону или враждебной революции России Александра I. Жомини предвкушал, что Россия оценит его таланты дороже, и предложил России первой свои услуги. Случайности войны привели его в лагерь Наполеона, и только дезертирство — переезд из французского в русский лагерь в момент возобновления осенней кампании 1813 года, положил конец этим колебаниям между двумя противоположностями. В них у швейцарца Жомини сказалась как будто наследственность швейцарских наемников, целыми веками торговавших своей кровью и энергией, не спрашивая о цели, на которую они будут применены, а интересуясь только размером и надежностью заработка... Конечно, Жомини был далек от такого национального движения, в русле которого развивалась мысль Клаузевица.

Но он хорошо разбирался в пожеланиях своих заказчиков. Его стратегические труды окончательно оформились в изданиях 1829—1837 гг., в пору злой реакции, нависшей над Россией и большей частью Европы. Священный Союз был заинтересован в том, чтобы набросить покрывало забвения на огромные народные движения — революционные и национальные приливы и отливы, — которые решили судьбы войн революции и Наполеона. Армии должны были представляться исключительно орудием правительств; теория стратегии не должна была связывать в одно целое армии и народные массы, ставить военные достижения в зависимость от народных чаяний. Военная доктрина должна была почитать существующий строй и, в частности, прокламировать незыблемость императорской России, являвшейся основной опорой реакции, непобедимость коей была засвидетельствована катастрофой, постигшей самого великого Наполеона в 1812 году.

Возвеличивать военный гений Наполеона признавалось даже полезным, так как раздувание одной личности в исторического гиганта давало объяснение громадным пертурбациям на политической карте Европы на грани XVIII и XIX столетий, независимое от действия революционных сил; но при этом надо было подчеркивать борьбу Наполеона с распущенностью, как реакция титуловала свободу, недоверие Наполеона к демократии —

бушующей стихии, ошибочное стремление Наполеона опереться на польский народ — „смелый и склонный к энтузиазму, но легкомысленный и лишенный всех элементов, создающих прочную мощь“; надо было оттеснить на второй план значение лозунгов и прекрасных политических посулов, указать на отвращение Наполеона к использованию последних и его стремление решать войну только военными средствами.

Перед Жомини стояла задача — не столько добиваться стратегической истины, сколько создать *полезную*, с точки зрения реставрации Европы, простую и ясную теорию стратегии. Рассмотрение вопросов стратегии в корне, диалектически, было совершенно не в духе тех военных кругов, которые внимали ему. Его стратегический труд был посвящен русскому наследнику, будущему императору Александру II, которому он давал уроки стратегии. Жомини создал официальную европейскую стратегическую доктрину; он очень умно справился со своей задачей, вылив опыт Наполеоновских войн в осторожную, догматическую, общедоступную форму. Ясность Жомини, однако, достигнута путем упрощенства. Путь Жомини был совершенно отличен от пути мышления Клаузевица, который, чтобы избегнуть эклектических уклонений, отказался вовсе печатать при жизни свой основной труд...

Жомини проработал колоссальный материал по войнам Фридриха, Революции, Наполеона; плодом его исторических работ, в значительной степени основанных на первоисточниках, явилось 23 объемистых тома. Стратегическая мысль Жомини базируется на этих исторических исследованиях, а не на отвлеченных умозаключениях. Стратегический анализ минувших войн дается Жомини необычайно метко, и его французские поклонники (Камон), сравнивая выводы Жомини, сделанные на основании отрывочных данных, с работами исторической мысли XX века, поражаются, если не глубиной, то точностью его заключений, подлинностью установленной им причинной связи между военными событиями. Жомини имел отвращение к математическому способу изложения положений стратегии, и базировался не на геометрии, а на истории. Жомини выдвинул наступление на первое место; оборонительные тенденции XVIII века были ему чужды; впрочем, Жомини ставит разумное наступление в тесные рамки; он считает бредом сумасшествия обширные военные предприятия в далекие, огромные страны

и расшаркивается перед непобедимостью океана русской земли, поглотившего великую армию Наполеона.

Мышление Жомини имеет парадный этаж, в котором излагается формальная логика военных операций, дается анализ тех вензелей, которые выписывались армиями Фридриха, Революции, Наполеона; Жомини не замечает грани между военным искусством Фридриха и Наполеона и толкует деятельность обоих полководцев в стиле сокрушения; в центре его внимания сражение, решающее участь войны: решительный пункт на театре войны, на коем в решительную минуту нужно сосредоточить материальное превосходство в силах, чтобы добиться победы. Отсюда у Жомини полное и систематическое принесение в жертву интересов второстепенного театра интересам главного, интересов географическо-экономического порядка интересам маневра, венчающегося разгромом живой силы неприятеля. Формы этого маневра, при сравнительной немногочисленности армий, при отсутствии технических средств связи, при слабо развитом тыле, плохой подготовке частных начальников, отсутствии хороших карт и тому подобных условиях начала XIX века, мыслились Жомини, как таранное действие, т.-е. возможное сосредоточение движения армии к решительному пункту, где предстоит столкновение с неприятелем. Если обстоятельства вынуждают нас и неприятеля разделить свои силы по нескольким направлениям, требования военного искусства сводятся Жомини к занятию центрального, внутреннего положения, к действиям по так называемым внутренним операционным линиям, что позволяет нам скорейшим образом сосредоточить наши войска для удара на любом направлении. Жомини учил забираться внутрь окружности, образуемой отдельными частями неприятельской армии, так как учитывал трудности завершить окружение в ту эпоху, неизбежную несогласованность действий отдельных частей при отсутствии технической связи, малые преимущества, которые могла получить охватывающая сторона при недальнобойном оружии. Главное соображение, толкавшее Жомини к предпочтению центрального положения, представлявшему противоположную Бюлову оценку стратегических плюсов и минусов, заключается в том, что тогда как Бюлов переносил центр тяжести на сообщения, безопасность коих, несомненно, у окружающего обеспечивается в несравненно большей степени, чем у окружаемого, Жомини переносил центр

тяжести на бой. Противоположное по своей схеме Бюлову, учение Жомини впадало в ту же ошибку: как Бюлов возводил в догму методы измора XVIII века, сводившиеся к маневру на сообщения, так и Жомини возводил в ранг вечных истин методы сокрушения, господствовавшие на грани XVIII и XIX века и оказавшиеся уже несостоятельными в конце карьеры Наполеона, при возросших массах, коими решалась осенняя кампания 1813 г. в Саксонии (Лейпциг).

Этот парадный этаж мышления Жомини представляет чисто военную стратегию, ту самую чисто военную точку зрения, отвержение самой допустимости коей является существом учения Клаузевица. Чисто военная стратегия нужна была Жомини, чтобы отринуть диалектику, провозгласить вечной истиной частный случай, воздержаться от вступления в область условного, сохранить за своим учением общедоступную ясность. После выхода из печати посмертного издания сочинений Клаузевица, для Жомини невозможно было продолжать не замечать связи политики и стратегии. Жомини должен был признать, что, составляя общий план какой-либо войны, т.-е. определяя для нее общую систему военных действий, надо учитывать характер неприятельских народных масс, характер неприятельского полководца, средства неприятельской территории и их географическое распределение, особенности неприятельской армии и т. д. Все эти вопросы он выделяет в особый раздел стратегии, названный им военной политикой; Жомини признает за военно-политическими соображениями влияние на выработку плана войны, но дальнейшую стратегическую (мы бы сказали оперативную) работу по выполнению плана войны Жомини провозглашает попрежнему сферой чисто военных соображений, с исключением из нее каких-либо политических мотивов.

Логика, конечно, приносится в жертву этим выделением военной политики в особый раздел, едва связанный работой по плану войны со стратегией. Это последний ретраншемент, с очень слабыми логическими подпорками, защищавший безусловность военных истин...

Жомини не был бы великим военным мыслителем, если бы оставался в этих пределах. Но у Жомини, помимо парадного текста, имеются подвалы — примечания, оговорки, развитые иногда в целые главы, отдельные его исторические суждения,

записки, которые он подавал Нею, Наполеону I, Александру I и Николаю I; они убеждают нас в том, что мышление автора было много глубже и тоньше поверхностного тона его распространенных стратегических трудов. Он применялся к своей аудитории, а те вопросы, которые толкали Клаузевица на усложнение и углубление теории, Жомини относил преимущественно к такту и гению полководца и таким образом изымал с широкого обсуждения.

Позиция Жомини в достаточной степени объясняет его недоговоренность по существу стратегии и избыток внимания, уделенный внешним формам. Учение Жомини, представлявшее полуистину, было несравненно менее жизненно, чем учение Клаузевица; оно было достаточно поверхностно, и как говорили, более практично — и стало распространенной доктриной, никого не стеснявшей, никому не мешавшей, представлявшей компромисс между многими идеями и многими предрассудками.

ЛЕВАЛЬ.

Изучая условия, в которых развивалась во Франции второй половины XIX века стратегическая теория, мы должны обратить внимание на систематическую реакционную позицию французских господствующих классов и их хвостизм. Завоевания революции были навязаны господствующим классам, а не кооптированы ими, как в Германии. Господствующие классы не являлись вождями народа, а оборонялись от его требований. Французский пролетариат в значительной части тяготел к революционным традициям; политико-просветительная работа буржуазии, обработка ею рабочего класса, стояла на низкой ступени развития. Французская государственность массам не доверяла. Только разгром 1870 г. заставил французов ввести воинскую повинность; но и при ней господствующие классы стремились удержать возможно долгие сроки службы. Бонналь, базируясь на теории рефлексов, настаивал на муштровке в обучении и воспитании солдата, так как надежен только солдат-автомат. Перед мировой войной, в 1913 г., Франция вернулась от двух-к трехлетнему сроку службы. Расчет на количество для французского стратега отпадал, не только вследствие малого числа рождений, но и вследствие переноса исключительного внимания на перволинейные войска и оттеснения резервных

дивизий на второй план, с предназначением их преимущественно на тыловые потребности.

Вместе с тем, Франция — классическая страна централизации; сам огромный Париж представляет уже страшно централизующую силу. Централизация управления, составляющая основу наполеоновского военного искусства, пришлась особенно по сердцу французов.

Возвеличение гения Наполеона, признание его походов откровением в военном искусстве, догматизирование его методов, созерцание их, как вечного и непогрешимого образца, не подлежащего критике, во второй половине XIX столетия явилось уже тормозом для развития стратегической теории, так как исключало представление об эволюции и препятствовало пониманию новых явлений бытия войны, развернувшихся в ряде крупных столкновений 1859 — 1870 гг., приведших к объединению Италии и Германии. Поколебать авторитет наполеоновской догмы, признать за Мольтке новое слово в военном искусстве — это было бы, в особенности для французского военного писателя, несмываемым позором, это было бы преступлением против патриотизма, изменой, признанием не только материальной победы немцев, но и торжеством их на поприще военного искусства. Стремившаяся к реваншу французская военная мысль не могла стать на этот путь в Каноссу. Французы очень тщательно изучали войну 1870 — 71 гг., но почти исключительно для того, чтобы подчеркивать на каждом шагу превосходство гения и методов Наполеона I над искусством Мольтке; успехи последнего объяснялись более или менее неловким подражанием великому учителю. В сфере этого научного шовинизма, особенно обострившегося в конце XIX и начале XX века, и выковывалась французская стратегическая доктрина. Во многих отношениях к началу мировой войны она представляла шаг назад даже по сравнению с Жомини. Инакомыслящие изгонялись из французской армии.

Опыт данной войны толкуется всегда на первых порах более непосредственно и материалистично. Поэтому, если мы будем расценивать работу французской военной мысли между 1871 и 1914 годами, то мы не будем поражены постепенным нарастанием в ней идеализма и реакционности. Перед мировой войной она совершенно разорвала всякие связи с материальным бытием, выродившись в учение Грандмезона, гениально

доведшего почти до сумасшествия стремление наложить на все военное искусство отпечаток наступательного духа. Более разумных мыслителей мы найдем в среде французского поколения, в зрелом возрасте пережившего катастрофу 1870 года. Остановимся на самом крупном представителе этого поколения в теории — Левале.

Жюль-Луи Леваль (1823 — 1896), наиболее глубокий и оригинальный из французских военных мыслителей, не был затронут младо-турецким движением французского генерального штаба, с его идолопоклонством и его доктриной. Несмотря на весь блеск, оригинальность и глубину своих трудов, несмотря на самые ответственные должности, которые он занимал во французской армии, в том числе начальника военной академии и военного министра, основные линии решения Левалем стратегических и оперативных проблем не привились во Франции, так как противоречили доктрине — французскому талмуду; Леваль редко цитируется французскими авторами. Но если продукт оперативного мышления Леваля являлся еретическим, то методы работы Леваля завоевали общее признание и наложили глубокий отпечаток на подготовку и приемы работы французского генерального штаба.

Для Леваля, сознававшего необходимость продвинуться от устарелых наполеоновских приемов ведения войны на новую ступень, исторический метод исследования, очевидно, являлся неприменимым. Сдавать Наполеона в архив, подмечать новые шаги, сделанные немцами в стратегии, — это был не лучший способ составить себе среди французов аудиторию. В создавшихся во французской армии условиях обожания Наполеона история являлась базой реакционных течений в военном искусстве. И Леваль сводит военную историю к вечерам воспоминаний, подвергает ее злой, скептической насмешке.

На первый план Леваль выдвигает экспериментальный метод исследования военного искусства. Теория его должна базироваться на опытных данных. Леваль стремится продвинуть стратегию и тактику на позитивную ступень развития. Леваль — глубоко образованный ученик Огюста Конта, боец позитивизма, вступивший в борьбу с устарелой рутиной и метафизическими уклонами военной теории. Позитивизм уже с шестидесятых годов XIX столетия прельщал теоретиков стратегии. Профессор русской военной академии, Г. А. Леер,

уже в 1869 г. второе издание своего теоретического труда наименовал позитивной стратегией, а Н. П. Михневич, его преемник по кафедре, и после мировой войны в своих трудах и лекциях оставался верным Контовским периодам господства теологии, метафизики и позитивизма, Контовской иерархии наук... Но в позитивизме нужно отличать теорию и метод. Русские позитивисты с жадностью усваивали теорию позитивизма, плоскую и устарелую уже для второй половины XIX века, а Леваль брал у позитивизма преимущественно метод — серьезное и искреннее следование чисто экспериментальным путям исследования.

В русской военной науке пышно расцвели идеалистические вершки, догма позитивизма, а Леваль уловил его материалистические корешки, и так как материалистические устремления представляют главное завоевание позитивизма,[1] то нам кажется несомненным, что Леваль, по сравнению с русской наукой, избрал благую часть.

Мышление Леваля охотно связывается с мышлением военных писателей-материалистов XVIII века, которых он часто цитирует. Предупредив Тейлора и Файоля, Леваль провозгласил научную организацию военного труда. В сочинениях Леваля наиболее четко сказываются организационные достижения капиталистического общества. Вместе с войной масс, по мысли Леваля, фабричное производство должно притти в военном искусстве на смену творчества мастеров. Как фабричная марка, на каждой странице Леваля нам бросаются в глаза лозунги рационализации, борьбы с эмпиризмом, механизации и индустриализации военного дела. Эволюцию военного искусства Леваль понимает, главным образом, как умаление творческой части и повышение значения реалистической его части, методов осуществления; центр тяжести военного исследования Леваль переносит на изучение средств выполнения замысла. Если французский генеральный штаб, со своей чудовищно отсталой стратегической доктриной, выказал себя в мировой войне все же очень хорошо грамотным исполнителем, и если натаски-

---

[1] Позитивизм колеблется между материализмом и идеализмом, и потому он иногда выступает как „стыдливый“ материализм, а иногда как замаскированный идеализм. Философские выводы из последовательного позитивизма ведут к идеализму, в лучшем случае к кантианству.

Прим. ред.

*

вание на исполнение во французской военной академии доведено сейчас до высокой степени совершенства, то в этом — большая заслуга Леваля.

Он начал свою работу по исследованию и организации походных движений почти как врач, меряя пульс солдата, вооружившись шагомером, наблюдая, как отражаются на усталости солдата скорость марша, вес и пригонка снаряжения, толчки, нарушающие равномерность движения колонны, встречающиеся подъемы и спуски, остановки, вызывающие непроизводительное напряжение. Здесь позитивные приемы Леваля принесли блестящие плоды; он открыл явления растяжки походных колонн, изменяемость длины последних в зависимости от подъемов и качества дороги, учел эту растяжку при организации походного движения, ввел дистанции между отдельными частями колонны и вычислил их, как вычисляется зазор, оставляемый между рельсами, чтобы позволить последним удлиняться или укорачиваться, в зависимости от изменения температуры. Леваль вывел наиболее экономическую скорость походного движения, установил необходимость малых и больших привалов для отдыха, регламентировал их количество, доказал возможность отказаться от принятого раньше метода одновременного подъема войск с бивака, приводившего к непроизводительному простаиванию в течение двух — трех часов частей, назначенных следовать в хвосте колонны, и выяснил полную возможность создания колонны на ходу, путем расчета глубины колонны и момента выступления каждой ее части. Когда наш офицер генерального штаба, прослушавший курс французской академии, сделал доклад о походных движениях, русская аудитория получила впечатление, будто она оказалась перенесенной в стены медицинского факультета...

Начав с тактических вопросов, Леваль постепенно повышал масштаб своего исследования до миллиона бойцов — нескольких армий, — совершающих на тесном пространстве марш для решительного столкновения с неприятелем. Леваль развернул огромную технику работы *тыла* этой армии, заимствовал у железнодорожной техники графики движения, уяснил методы регулирования работы массы транспортов, необходимые, чтобы накормить каждого бойца, чтобы обеспечить каждую пушку, каждое ружье упорядоченной доставкой огнеприпасов, чтобы сохранить возможность рокировочных движений и перегруппировок

в этой массе, заполняющей все дороги. Верный экспериментальному методу, Леваль, командуя корпусом, проделывал на маневрах опыты движения и снабжения его на маневрах в узкой полосе, по дорогам, которые могли бы быть ему предоставлены в том случае, если бы он представлял одно из наиболее стесненных звеньев этого миллиона...

Эта научная разработка и гордое выдвижение на первый план *ремесленной стороны* большой войны у Леваля отчасти объясняется его личным опытом. Он вырос в школе алжирских войн, в рутине малой войны; последняя не поглотила его, но он наблюдал, как старшие начальники второй империи отмахивались от исследования ремесла большой войны, как леность их мысли приводила к упованиям на гениальную интуицию, на то, что когда явится случай, то сумеют разобраться и выкарабкаться из создавшегося положения. И Леваль, молодой полковник, к моменту капитуляции Меца фактический начальник штаба Базена, увидел всю беспомощность этих храбрых, но не подготовленных долгим трудом, не знающих оперативного ремесла начальников; он увидел своего начальника Базена на скамье подсудимых, осужденного за измену, тогда как он был виновен только в стратегической безграмотности; и Леваль всеми силами возненавидел „авось"...

Специфические условия, в которых находилась французская армия конца второй империи и эпохи третьей республики, наложили еще один резкий отпечаток на стратегическую мысль Леваля, находившийся в полном соответствии с его отказом от исторического метода и позитивными устремлениями. Мы имеем в виду взгляды Леваля на взаимоотношения политики и стратегии. В 1870 году французская армия явилась жертвой плохой политики. Императрица Евгения, регентша, чтобы отдалить на несколько дней гибель бонапартистского режима, послала армию Мак-Магона на убой к Седану. Для Леваля, капитулировавшего с Базеном в Меце, война с пруссаками, после ликвидации императорских армий, была закончена. Ему чужды были попытки диктатуры Гамбетты продолжать борьбу путем импровизации новых армий. Возведший ремесло в науку, Леваль был глубоко враждебен военному дилетантизму. Военный историк, дилетант Тьер, и стратег-дилетант Гамбетта являлись особенно ненавистными Левалю, стремившемуся поставить военную специальность на строго научные основы. В третьей

республике усилия военных и правых кругов были направлены на ограничение компентенции политических партий и парламента в делах армии, получившей в наследство от второй империи отнюдь не республиканские кадры и стремившейся жить обособленной жизнью. Отсюда у Леваля родился страстный протест против вмешательства политики в военные дела, против зависимости стратегии от политики. Политика должна ограничивать свое вмешательсто в военное дело лишь вотированием подлежащего призыву контингента новобранцев и военного бюджета, определением размера жертв, приносимых народом для организации вооруженных сил. Во время войны политика продолжает свою работу, не затрагивая военных замыслов. Война — это только гигантская дуэль двух наций, происходящая по своим особым законам. Правители пусть специализируются в политике, генералы — в стратегии. На войне слово за пушками. Стратегии нужен секрет и единогласие; обсуждение с политиками ведет к анемии, утрате воли и энергии; политика — это опиум для стратегии. Политик, понимающий военное дело, это химера. Полная мощь избранному полководцу! Политика нанизывает заблуждения, ошибки, уклонения, подрывает решимость, сбивает с пути, заставляет нервничать. Нельзя отвлекать полководца от его прямого дела вопросами политики...

Клаузевицу Леваль делает упрек, что, анализируя действия Фридриха и Наполеона, соединявших в своем лице полноту гражданской и военной власти, он связал в одно целое независимые друг от друга политику и стратегию. У Людендорфа в течение мировой войны, и в его литературном творчестве после войны, слышатся аналогичные с Левалем ноты протеста против господства политики над стратегией. Диалектика дается с трудом, в особенности, если выводы ее противоречат кастовым интересам... Эти кастовые интересы были чрезвычайно сильны как у Леваля, так и у Людендорфа. И хотя последний, буржуа по происхождению, имел достаточно смысла, чтобы в разгар своих успехов в мировой войне отказаться от предложенного ему Вильгельмом графского титула и остаться в рядах буржуазии, и хотя Леваль является рыцарем рационализации и индустриализации военного искусства, мы не можем видеть в них представителей буржуазной мысли. Или это упадок, шаг назад буржуазии, по сравнению с Клаузевицем, которого

в начале XIX века несла волна стремления к национальному объединению?[1]

Само превознесение и углубление военного ремесла и оттеснение на второй план творчества у Леваля как бы подчеркивает его требование разделения труда между политикой и стратегией. Выдвигая лозунги фабричного века, в котором мы живем, Леваль незаметно протаскивал кастовые тенденции. Мы подчеркиваем это, так как многие работники нашей военной науки, одушевленные стремлением рационализировать военное искусство, видят в Левале наиболее поучительный для них образец экспериментального исследователя военного искусства.

Мировая война рисовалась Левалю, как лобовое столкновение миллионных армий, в котором все будет зависеть от порядка, технической организованности; от последней зависит создание крепкого лба, который сумеет добиться победы. Рост масс и техники, в представлениях Леваля, душит творчество. Нам кажется, что Леваль, в результате своих позитивных приемов, в сущности уклонился от разработки теории стратегии и сжался в область оперативного искусства — тактики стотысячных и миллионных масс. Позитивная стратегия Г. А. Леера, также убежденного врага диалектики, также отрицавшего зависимость стратегии от политики, получила от самого автора наименование тактики театра войны.

Методы позитивизма не вяжутся с представлением о том, что стратегия — только функция от политики и получает от последней свой характер. Недиалектическое мышление позитивизма требует более твердой почвы, требует признания особой военной точки зрения. Позитивный подход Леваля позволил ему собрать богатую жатву, внести удивительную ясность в одну, преимущественно техническую категорию военных вопросов, и оставил его младенчески бессильным в других областях военной теории.

Основная заслуга Леваля — введение в стратегию элемента расчета, придание ей характера практического знания, учет эволюции техники. Мы должны признать, что внешние формы

---

[1] Буржуазная мысль, которая в первой трети XIX в. была еще революционной, постепенно, к концу этого века стала реакционной, отразив этим социальную и политическую эволюцию самой буржуазии. Несомненно, это сказалось и в области военной теории.

Прим. ред.

ведения операции, например, отказ от общего авангарда, предложенные Левалем, неизмеримо обогнали оперативные представления следовавшего за Левалем поколения творцов французской доктрины — Мальяра, Бонналя, Фоша, Ланглуа, Гранмезона.

Если бы мы поставили перед собой задачу очертить это направление теоретической мысли, то мы должны были бы обратиться к буланжисту Жиберу, воскресившему Наполеона во французском сознании, и „зажегшему вновь Аустерлицкие огни в стане побежденных“, по образному выражению Жореса. Но самое утонченное исследование Наполеона являлось только тормозом для развития стратегической теории в конце XIX столетия. Образовался, в области военного искусства, удивительный реакционный франко-русский союз: Драгомировская доктрина, основанная на воскрешении и фальсификации Суворова, расценивалась французскими поклонниками Наполеона даже выше, чем в России. Мы считаем возможным в нашем кратком очерке теории пройти мимо этих тупиков военной мысли. С внешними формами стратегии, культивировавшимися теорией в конце XIX и начале XX века, мы лучше познакомимся, изучив в следующей главе творчество Шлихтинга.

ШЛИХТИНГ.

Огромный технический переворот, захвативший в XIX столетии все отрасли европейской жизни, создавал для военного искусства, начиная с Восточной войны 1853 — 56 гг., условия, совершенно отличные от тех, в которых действовал Наполеон. Пар и электричество представляли элементы, еще не учтенные гением Наполеона. Железные дороги позволяли мобилизовать огромные армии и с большой быстротой развертывать их на границе; электрический телеграф позволял передавать приказы за несколько сот верст скорее, чем конные ординарцы успевали проскакать два десятка километров. Новое дальнобойное оружие потребовало значительного увеличения обозов для подвоза огнеприпасов; новый солдат, взятый по общей воинской повинности, потребовал питания его на походе свежим хлебом, а не сухарями, потребовал значительного увеличения санитарных средств для лечения и эвакуации. Сами армии возросли, и еще в большей степени возрос и сделался массивным их

тыл. Потребовалась дальняя разведка, и кавалерийские дивизии, представлявшие ранее резервную кавалерию, тащившуюся в хвосте армий, или, как авангард, непосредственно пришивавшиеся к голове походных колонн пехоты, отделились и получили назначение самостоятельной оперативной конницы. Количество потребных армии дорог, глубина походных колонн, время их развертывания, длительность боя и сопротивляемости отдельной колонны, скорость и дальность передачи донесений и приказов — все элементы полководческого расчета за 60 лет от эпохи Наполеона до Мольтке изменились радикальным образом. Гениальность Мольтке заключалась именно в том, что он учел новые материальные условия, в которых приходилось проявлять военное искусство, и соответственно изменил его методы. Драма Мольтке заключалась в том, что он действовал по-новому, но генералы прусской армии еще были обучены и воспитаны по-старому. Новые формы бытия еще не вызвали новых форм военного мышления. Авторитет Наполеона и „вечных" принципов, догматизировавших его искусство, еще не был поколеблен. Еще автор этих строк, в начале XX столетия, в военной академии слушал критический разбор действий Мольтке с точки зрения наполеоновского искусства. В самой Германии эта точка зрения была господствующей, и в конце XIX века выдающиеся германские теоретики признавали Мольтке своим немецким Наполеоном, только поменьше, только более скромным по размаху своей деятельности; меньший масштаб Мольтке германские теоретики охотно извиняли подчиненным положением Мольтке, не имевшего той свободы, которой в своих замыслах и их осуществлении пользовался Наполеон. Сам Мольтке не решался выступать открыто против авторитета Наполеона; при нем и после него в прусской военной академии преподавалась наполеоновская теория стратегии. От теоретического выражения новых начал стратегии Мольтке принципиально отказался, чтобы не вступать в конфликт с огромным большинством поклонников наполеоновского искусства. Он подготавливал около себя, в большом генеральном штабе, ряд сотрудников исключительно прикладным путем, путем оперативных и тактических задач, военных игр, полевых поездок. Указания, которые давал Мольтке в различных конкретных случаях, собранные вместе, могли бы, в сущности, составить новую теорию, но их начали разбирать и издавать только в XX веке. Офи-

циальная история войн 1866 и 1870 гг. составлялась Мольтке в духе примирения и избегала указаний на ошибки его помощников, воспитанных в старых взглядах на военное искусство. Имелась, правда, составленная им секретная инструкция для старших начальников, но она не подлежала оглашению и не носила боевого теоретического отпечатка. Из противоречия наполеоновской теории и новой, созданной им практики, Мольтке выходил своим полуюмористическим определением стратегии, как системы подпорок: такое определение равносильно отрицанию всякой теории. Анархическое отрицание всяких руководящих основ в стратегии и оперативном искусстве, признание полной свободы за полководческим гением, избирающим при помощи стратегических подпорок какой-то средний путь, продиктованный обстоятельствами, отзывалось извинением за введенные Мольтке стратегические новшества, обезоруживало поклонников классического наполеоновского стиля, позволяло Мольтке приобщать их к своей работе.

Теоретическая скромность Мольтке не отвечала потребностям торжествующей Германии Бисмарка, исполненной сознания своей силы и своего превосходства, располагавшей лучшей и наиболее надежной армией, представлявшей наиболее благоустроенный в отношении путей сообщения и техники тыл. Германия нуждалась в новой стратегической теории, которая полностью учла бы все элементы ее превосходства и выдвинула бы в оперативном искусстве методы, применением которых немцы могли бы выказать все свои сильные стороны. Фронт теоретического молчания был прорван Шлихтингом.

Шлихтинг (1829—1909 гг.) был одним из редких офицеров прусского генерального штаба, не проходивших курса военной академии[1] и потому не погрузившихся в молодости в догматизирование наполеоновского искусства. Молодым офицером Шлихтинг был командирован в воспитатели принца Шварцбургского и вместе с ним слушал лекции в Боннском и Гейдельбергском университетах, поклонялся Гервинусу и Трейчке. С университетской скамьи, незнакомый ни с Жомини, ни

[1] Кроме Шлихтинга, нам еще известен пример Гебена, которому зачислили за курс академии четыре года любительского участия в гражданской войне в Испании на стороне карлистов, с тремя полученными в течение войны смертными приговорами, и сделанный по возвращении в Пруссию доклад об этой гражданской войне.

с Клаузевицем, он был переведен в генеральный штаб, и первое ознакомление со стратегией он получил из попавшихся ему отчетов о полевых поездках под руководством Мольтке. В его стратегически-девственном сознании врезались слова Мольтке: „Стратегия достигнет наивысших результатов, если ей удастся вывести на поле сражения, коротким переходом, по скрещивающимся направлениям, раздельные массы". С трудом Жомини Шлихтинг ознакомился через 5 лет, во время осады Парижа, и его поразила противоположность наполеоновского тарана, рекомендуемого Жомини, с мыслью Мольтке.

Шлихтинг взял на себя боевую задачу — выбросить в теории знамя Мольтке, совершить в теории военного искусства тот переворот, который в действительности был уже осуществлен в эпоху Мольтке, привести военное сознание в единение с ушедшим вперед бытием. „Подпорки" — это только заплаты на постройке; подпорками здание не возводится и подпорками теория стратегии жить не может. Поэтому Шлихтинг уже на склоне своей жизни, в девяностых годах, приступил к решительной ревизии наполеоновского военного искусства, к острому подчеркиванию различия средств, которыми орудовали Наполеон и Мольтке. Капитальный труд Шлихтинга „Основы современной тактики и стратегии" частично был издан в русском переводе в 1910 году, через 12 лет после появления немецкого оригинала.

К борьбе за коренной пересмотр начал стратегии Шлихтинг был подготовлен уже своей предшествующей тактической деятельностью. Для Шлихтинга характерна его способность уделять равное внимание военному искусству и в крупном, оперативном масштабе, и в мелком, тактическом. Шлихтинг являлся основным автором германского пехотного устава 1888 г. и в нем уже развернул свой реформаторский размах. До издания этого устава в тактике господствовал дуализм: новые начала перпендикулярной тактики, созданные революцией и введенные в прусской армии еще Шарнгорстом, уживались на ряду с пережитками линейной тактики XVIII века. Наступление пехоты нормализировалось, фронт подравнивался, требовалось нанесение одновременного штыкового удара на всем фронте, идея тактического прорыва сохранялась, начавшаяся атака должна была продолжаться безостановочно и не взирая ни на что. Тактика пехоты имела две души — огонь и удар.

Шлихтинг в уставе 1888 г. решительно покончил с господствовавшим в теории тактики целые века ударным идеалом; наступление пехоты он определил, как перенос пехотой стрелковой позиции с более дальних дистанций на более близкие; он развернул широкую арену для применения пехоты к местности, освободил ее от всяких забот о равнении и о внешних формах, открыл полный простор для инициативы младших пехотных начальников. Устав упростился до крайней степени. Шлихтинг настаивал на крайнем сокращении элементарной тактики и настаивал, как выдающийся знаток ее. Муштровка, перестроения, элементарная тактика, в случае их распухания, представляли для Шлихтинга грозное явление, особенно на почве немецкой любви к мелочам. Распухшая элементарная тактика представлялась Шлихтингу орудием, могущим снова обратить армию в механизм, убить в ней дух, мышление и инициативу; и это орудие в каждом частном случае не сможет никому принести пользы, как свидетельствует опыт. Опасность заключается в стремлении командного состава щегольнуть мелкой, элементарной тактикой, которая не имеет ничего общего с разумной подготовкой к войне, и в соответственных увлечениях инспектирующих начальников на смотрах, учениях и маневрах.

Первоначально, понятно, Шерф и другие представители уходившего в прошлое тактического идеала подняли страшный вой на тему, что нельзя оставлять мелкие пехотные соединения без подробного регламентирования того, что им надлежит делать в бою, что в мирное время нужно выработать автоматизм боевого маневрирования, так как в противном случае остается неизвестным, что будет делать пехота в бою. Из завязавшейся жесточайшей полемики Шлихтинг вышел победителем.

Другая крупная заслуга Шлихтинга — это разработка, в том же уставе 1888 г., идей встречного боя, основанного на непосредственном развертывании в бой из походных колонн; ему принадлежит резкое разделение двух категорий наступления — против укрепившегося неприятеля, требующего централизированного управления, и встречного — против неприятеля, еще неустроившегося и незакончившего свое развертывание. Своими тактическими успехами в мировую войну германская армия в значительной степени обязана теоретической работе Шлихтинга.

Но последний был не только отцом встречного боя; встречный бой, идеями которого ни в России, ни во Франции так до сих пор и не овладели, является, прежде всего, тактическим выражением превосходства комплектования, обучения, организации, подготовки комсостава армии. Теория Шлихтинга родилась из побед 1870 года, из успехов Германии на фронтах промышленном, торговом, народного просвещения, из крепости и успехов политической постройки Бисмарка, из надежности германских войск, из отсутствия той боязни устроить „слоеный пирог" из своих и неприятельских частей, которая преследовала Куропаткина во время борьбы в Маньчжурии с превосходными по качеству японскими войсками. Встречный бой Шлихтинга — это только продолжение в тактике основной мысли Мольтке о наилучшем оперативном использовании германского качественного превосходства.

Когда Шлихтинг перенес свои реформаторские усилия в область стратегии, он встретил несравненно более упорное сопротивление, чем в тактике. Против него была выдвинута тяжелая артиллерия десятков капитальных трудов первоклассных военных ученых. Все профессиональные военные историки ополчились на него. Ведь Шлихтинг, очистивший тактику от пережитков линейных порядков, выступил в стратегии с претензией очистить ее от признанного им за пережиток наполеоновского творчества. Шлихтинг приветствовал военную историю, как средство общего образования, но возмущался тем, что учиться стратегии продолжают на походах Наполеона, между тем как предпосылки стратегического творчества совершенно изменились. Шлихтинг, вопреки большинству прусского генерального штаба, настаивал на том, что стратегия (разумея в ней преимущественно оперативное искусство) эволюционирует, и то, что было истиной при Наполеоне, при Мольтке стало ложью, отжило свой век.[1]

Основная мысль Шлихтинга — нельзя служить одновременно двум богам, признавать сразу авторитет Наполеона

[1] В нашем очерке мы не касаемся борьбы с мышлением прусского генерального штаба, которую параллельно с Шлихтингом вел Дельбрюк. В диалектическом мышлении Дельбрюка и Шлихтинга много общего; только Дельбрюк воевал за признание отличия между основами военного искусства Фридриха и Наполеона, а Шлихтинг — Наполеона и Мольтке. Дельбрюк сосредоточивал свои усилия на уяснении коренного противоречия между

и действовавшего радикально противоположным методом Мольтке.

Нельзя полагаться на гений отдельного лица, начальника генерального штаба. Хорош Шлиффен, и вероятно работает над планом развертывания в духе Мольтке. Но все люди смертны, и упование на гений особенно опасно, когда масса, с десятков различных кафедр, поучается гибельному в современных условиях, устарелому оперативному методу. Долой преподавание наполеоновской военной истории, не освещаемой подчеркиванием отличия этой ушедшей в историю эпохи от современности! Как в момент Иены (1806 г.) устарело и пришло в полную негодность военное искусство Фридриха Великого, так точно теперь устарели и отпали все предпосылки наполеоновского творчества.

Все искусство Наполеона заключалось в построении тарана. Наполеон постоянно повторял о необходимости собрать и сосредоточить все войска вне досягаемости противника. Все учение Жомини, блестяще истолковавшего оперативные замыслы Наполеона, заключается в оперировании одной массой. Пока она не соберется из походной колонны в резервный порядок, Наполеон не начинает боя. Организация походных движений Наполеоном, прикрытие их авангардом, зиждилось на этом стремлении собрать в одну массу, на тесном пространстве, все силы, назначенные для операции. А в современных условиях — это подготовка Седана, капитуляции, только не противника, а самого себя. Искусство Мольтке сводится к противоположному — он стремится задержать до последнего момента развертывание и сосредоточение; вместо тарана он создает щипцы; он стремится до решительного момента сохранить эти щипцы открытыми, держит свои массы расчлененными на двух направлениях, в походных колоннах, допускающих дальнейшее маневрирование, и зажимает их на самом поле сражения, когда между его оперативными половинками уже окажется неприятель. Трудность наступления в современных условиях

Фридриховским измором и наполеоновским сокрушением. Шлихтинг же, в пределах сокрушения, устанавливал противоречие между методом наполеоновского таранения и приемом Мольтке — зажимать неприятеля массами, наступающими по скрещивающимся направлениям. Несмотря на различный размах вопросов, поднятых Дельбрюком и Шлихтингом, противники устанавливали против них общую, антидиалектическую аргументацию.

колоссально возросла из-за вооружения скорострельным, дальнобойным оружием; но зато и тылы стали массивнее, сообщения — чувствительнее, опасность разделенного маневрирования, при хороших войсках и подготовленных начальниках, уменьшилась, и удар с двух сторон на неприятеля — излюбленная Мольтке форма операции — представляет такие выгоды, которые вполне уравновешивают возросшую трудность фронтального наступления. Несчастный австрийский генерал Бенедек в 1866 году был наголову разбит под Кенигрецем именно потому, что являлся слишком точным последователем Наполеона в век, исключавший возможность применения его приемов. Положение Наполеона перед Ваграмом аналогично положению французов перед Седаном: но в одном случае явилась победа, а через 61 год из того же положения, кроме позорной капитуляции, нельзя было придумать никакого выхода. Надо во что бы то ни стало провести грань между различными эпохами военного искусства; если мы не будем останавливаться на противоречиях между ними, а будем стремиться искать обобщающие формулы, то мы сможем только затемнить военное сознание.

Лидеры французской доктрины — Жибер, Бонналь, Фош, задавались вопросом: в чем Мольтке повторил Наполеона? Что у Мольтке заимствованного? И постановка этих вопросов заставляла вопрошающих пятиться. Шлихтинг же поставил вопрос: что внес Мольтке нового, в чем отличие его от Наполеона, — и самый этот вопрос толкал его на путь эволюции.

Шлихтингу было тем легче отказаться от наполеоновской догмы, что действия одним тараном, при современном усложнении тыла, не позволяли бы использовать количественного превосходства немцев, подготовленного внутренней политикой, развитием транспорта и техники, краткими сроками службы и всей организацией германской армии. Шлихтингу требовалось много дорог, и он естественно вынуждался подчеркивать преимущества стратегического охвата перед тараном и таким образом возвращаться во внешних формах операции от Жомини к Бюлову; как и последний, Шлихтинг ратовал прежде всего за широкий оперативный фронт.[1]

---

[1] Шлихтинг, вслед за Бюловым, также требовал эксцентричного, расходящегося по разным направлениям отступления.

Оперирование по самостоятельным, хотя и скрещивающимся направлениям, равно как и встречный бой — эти два основных устремления Шлихтинга—требуют децентрализации управления и выросших в школе частной инициативы начальников.[1] Культ частной инициативы в Германии ведет свое происхождение еще от гражданских реформ Штейна. Само федеральное устройство Германской империи представляло политическое оформление принципа децентрализации. Германские общественные деятели ревниво оберегали свою самостоятельность, ответственность и компетенцию. Отсюда ломка Шлихтингом методов централизованного стратегического и тактического управления Наполеона, провозглашение им превосходства в современных условиях ориентирующей, дальнобойной директивы Мольтке над категорическим, на один день, приказом Наполеона — нашла в Германии благодарную почву.

Мы близко держались взглядов Шлихтинга при изложении нами главы о стратегии Мольтке в третьей части нашей истории военного искусства (изд. 1923 г.) и отсылаем к ней читателя, интересующегося детализацией стратегического мышления Шлихтинга. Лишь вопрос о взглядах Мольтке на сокрушение и измор Шлихтингом не поднимался и разработан нами дополнительно. Шлихтинг вообще уклонялся от исследования „императорики", как именовалось в его время собственно стратегическое искусство, и держался преимущественно в русле оперативных вопросов; его мышление имело в виду не верховного полководца, а частных, подчиненных вождей.

Противниками Шлихтинга выступили все профессионалы военной науки: профессора академии, которым было жалко расстаться с учебным материалом по наполеоновским войнам, с таким прилежанием собранным и разработанным; военно-исторический отдел Большого Генерального Штаба, во главе с Фрейтагом-Лорингофеном, разрабатывавший к столетнему юбилею кампаний 1806, 1807, 1813 годов историю их в поучение армии, и т. д. В защите своих идеологических позиций против Шлиффена, как и против Дельбрюка, громившего их

[1] Вторжение русских в Восточную Пруссию в 1914 г. двумя группами — Ренненкампфа и Самсонова — представляло попытки русских осуществить идеи Шлихтинга. Они оказались не по плечу нашему высшему управлению. Наша неудача, однако, отнюдь не может подорвать учение Шлихтинга. Он писал для хороших генералов и хороших войск.

за толкование Фридриха, как предтечи Наполеона, они встали на точку зрения так называемой исторической школы, господствующей среди буржуазных немецких историков. Эта историческая школа характеризуется своим отрицанием эволюции. Она не признает никаких исторических сравнений и аналогий; каждый исторический факт конкретен и не повторяется, и должен рассматриваться и изучаться только в розницу. Всякое историческое обобщение страдает неточностью и ненаучно, содержит зародыш метафизики. С точки зрения этой исторической школы, вообще не существует методов решения оперативных вопросов Фридрихом Великим, Наполеоном, Мольтке. Каждый из этих великих людей стоял перед различными конкретными задачами, и каждую из них решал в зависимости от данных конкретных условий. И Наполеону случалось собирать войска непосредственно на поле сражения, и Мольтке случалось сосредоточивать свои силы до боя. Историческая школа оперирует против идеи эволюции исключениями. Конечно, обстановка вынуждала и Наполеона, и Мольтке к разнообразным действиям, но у них были определенные тяготения. Шлихтинг был, разумеется обвинен в том, что он подменяет свободное творчество Наполеона и Мольтке утверждением у каждого из них своего рецепта, панацеи на все случаи, и выдвигает определенный шаблон оперативного творчества.

Мысль Шлихтинга, как и каждого, последовательно разделяющего точку зрения эволюции, конечно далека от такой рецептуры. Но ведь в каждой эпохе имеются такие материальные предпосылки, которые заставляют предпочитать одни методы действий другим. Нельзя слепо применять никаких шаблонов; однако, чтобы верно понять мысль начальника, чтобы скорее разобраться в обстановке, надо понимать материальные условия своего времени и их требования в стратегии и оперативном искусстве.

Шлихтинг и находил, что военная теория должна искать в материальных условиях своего времени опорные точки, так как без такой опоры, без основ, военная теория становится не действенной, не жизнеспособной. Шлихтинг доказывал, что и Клаузевиц не полностью исключил из своего мышления определенные правила. Если сам полководец может успешно обходиться без военной теории, то таковая необходима его подчиненным, для взаимного понимания и согласования, для

устранения такого драматического расхождения, которое неоднократно наблюдалось в войнах 1866 и 1870 гг.

Учение Шлихтинга покоилось на исторической основе, но вело его непосредственно к бою со всеми военными историками. Шлихтинг волей судеб стал противником военной истории, рекомендовал сократить реакционную работу военно-исторического отдела, ввести главрука-цензора в лице особого генерал-квартирмейстера, с специальной целью удалить наполеоновские образцы из военного преподавания... К этому он пришел впрочем, когда ему приближался уже восьмидесятый год. Он был в этом отношении несомненно неправ: вступление в бой с историей ознаменовалось тем, что из бойца за эволюцию стратегической теории Шлихтинг переродился к последним годам своей жизни в догматизатора учения Мольтке; по отношению к последнему он занял в точности ту же позицию, которую занимал Жомини по отношению к Наполеону. Шлихтинг, правда, не называл вечными развитые им основы искусства Мольтке, но полагал, что господство их будет чрезвычайно долго: вызванные железными дорогами, телеграфом и т. п., они должны были, по его мнению, существовать, пока какие-нибудь новые гигантские изобретения не придут на смену пару и электричеству, проведшим грань между Наполеоном и Мольтке. В этих представлениях Шлихтинга заключалась недооценка происходивших на его глазах изменениях материального базиса. Если мы продолжаем еще пользоваться паром и электричеством, как в эпоху Мольтке, также пишем на телеграфных бланках и путешествуем в вагонах, то ряд даже мелких технических изобретений, само количественное развитие имевшихся уже в эпоху Мольтке материальных факторов совершенно изменили в начале XX века условия борьбы: количество перешло в качество. На восьмом десятке жизни Шлихтинг, отказавшийся от дальнейших выступлений в печати, поддерживал обширную переписку по принципиальным военным вопросам[1]; в ней мы еще видим очень острого, сильного мыслителя, но уже неспособного полностью охватить новые материальные условия, в которых развертывалась русско-японская война. Критика Шлихтингом Куропаткина и Ойямы очень

---

[1] Она частично опубликована в труде *E. Gayl.* General von Schlichting und sein Lebenswerk. 1913 г.

интересна и глубока; но все же эта критика опирается не столько на новые материальные условия XX века, как на военное искусство Мольтке. Шлихтинг кончил свою долгую жизнь той самой ошибкой, против коей он боролся в течение полустолетия: он со старым аршином подошел к анализу и оценке новых событий; масштаб Мольтке так же устарел для XX века, как масштаб Наполеона — для эпохи Мольтке. Мы полагаем, что если бы Шлихтинг не сосредоточивал так исключительно свое внимание на Мольтке и шире бы учитывал предшествующую эволюцию военного искусства, он сохранил бы большую восприимчивость. Впрочем, трудно рекомендовать средства для 80-летнего возраста...

Любопытно сравнить ход мышления Шлихтинга с мышлением его великого современника, Шлиффена, начальника генерального штаба; последний родился на 4 года позже Шлихтинга и прожил также 80 лет. Шлиффен теоретически был много слабее Шлихтинга; теоретические труды прусского генерального штаба, например, „Успех в бою и его использование“ (1903 г.), редакции коих Шлиффен уделял большое внимание, еще смешивали в одну кучу опыт войн Наполеона и Мольтке. Шлиффен, представляя официальную военную доктрину, находился под влиянием Фрейтага-Лорингофена и был еще враждебен Шлихтингу и представляемой им идее эволюции. Шлихтинг, признавая величие полководческой мысли Шлиффена, едко критиковал в частной переписке непонимание последним основных теоретических противоречий военного искусства Наполеона и Мольтке. Только выйдя в отставку, в процессе работы над созданием „Канн“, Шлиффен, в 75-летнем возрасте, был завоеван теорией Шлихтинга, и во второй части „Канн“ дал ей яркое, саркастическое выражение; Шлиффен, по своему обыкновению, не стеснялся с личностями, и создал в „Каннах“ целый ряд „рыцарей печального образа“, предал на осмеяние сподвижников Мольтке, воспитанных в идеях Наполеона и Жомини, не понимавших новых требований военного искусства и на каждом шагу выполнявших директивы Мольтке вопреки их духу, воспринимавших слова Мольтке навыворот. Шлиффен в этом отношении пошел дальше Шлихтинга, стремившегося держаться в теоретических рамках и не гвоздившего личностей в генеральских мундирах к позорному столбу. „Канны“ — это вообще удивительное произведение пол-

ководца, которому не пришлось воевать, который обижен удалением в отставку, который презирает маленьких людей, одевшихся в мундиры вождей и стоящих в бессилии перед задачами жизни. Нужен был весь авторитет Шлиффена, чтобы немцы смогли проглотить, с кислой ужимкой, появление „Канн“ в печати.

Теоретически, таким образом, Шлихтинг выступает в роли предшественника, наставника Шлиффена; это наставничество, конечно, надо понимать в очень мягких тонах, так как на военно-литературное поприще первый выступил 67 лет от роду, второй 74 лет. Но Шлиффен, с его господствующим военно-историческим уклоном, с долгим стажем практической работы по развитию вооруженных сил Германии, с пребыванием его на посту начальника генерального штаба у самого родника эволюции военного искусства, оказался выше Шлихтинга, как теоретик стратегии XX века, сумевший не застыть на Мольтке, а разобраться в новых данных русско-японской войны; статья Шлиффена „Современная война“, очерчивавшая условия полководческой деятельности при новой технике, демонстрировавшая „нового Александра“, сидящего в покойном кресле за письменным столом и руководящего битвой миллионов, уже не могла быть понята Шлихтингом.

Заслуги последнего в теории стратегии тем не менее значительны. Он ярче, чем Леваль, покончил с наполеоновскими пережитками, мужественно защищал свою теоретическую позицию, очистил теорию стратегии от предрассудков прошлого. Произведя ревизию наполеоновскому мышлению, он показал тем самым следующему поколению путь для ревизии мышления Мольтке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

К этой задаче в теории стратегии явилась возможность серьезно приступить только после окончания мировой войны. Мы стоим слишком близко к началу этой работы, чтобы включить в наш очерк попытки стратегической теории разобраться в данных нового колоссального военного опыта. Поэтому мы считаем себя в праве оборвать наше изложение на Левале и Шлихтинге.

Мы сосредоточили внимание читателя только на шести крупных теоретиках, представляющих важнейшие, на наш взгляд,

этапы стратегической мысли. Объем нашей статьи, к сожалению, заставил нас пройти мимо стратегического учения фондер-Гольца, того курса, который он читал в Константинополе турецким слушателям, который возник почти одновременно с теорией Шлихтинга и который, тем не менее, отличается от нее в неменьшей степени, чем турецкий транспорт, экономика и техника отличались от германской. Мы почти умолчали о творчестве Г. А. Леера, стремившегося стать на рельсы позитивизма, но отброшенного русской действительностью к эклектике Жомини, ослабленной уходом в прошлое наполеоновского образца, утратившей свои материалистические корни и выродившейся в крайний идеализм. Мы прошли мимо Фрейтаг-Лорингофена и плеяды других крайне интересных исследователей, историческая философия коих требовала обета теоретического молчания и обусловливала их органическое бессилие в теории. Мы сознательно игнорировали любопытное по многим частностям учение Бонналя, Фоша и всей фаланги французских доктринеров, защищавших вплоть до мировой войны наполеоновские основы военного искусства, отражавших в теории реакционную позицию французской армии в третьей республике и закрывавших дорогу правильной оценке в стратегии новых материальных факторов, несмотря на все их расшаркивание перед унаследованными от Леваля позитивными методами.

Теория стратегии является отраслью социологии, а не точных наук, и каждый крупный теоретик обречен пребывать в плену у мышления своей эпохи и у чаяний своего класса; ему приходится искать новые теоретические формы для охвата нового бытия войны, которое, как чувствительнейший сейсмограф, отражает все малейшие сдвиги в производственной и политической жизни враждующих государств. Ллойд и Бюлов, Клаузевиц и Жомини, Леваль и Шлихтинг, каждый по своему, как стремились мы показать, стоял перед этой задачей и более или менее успешно пытался ее разрешить.

Все развитие стратегической мысли происходило в атмосфере упорной борьбы; XIX век сопровождал стратегическую теорию примечанием: „в порядке дискуссии“. Передовые теории развивались не с кафедр военных академий, а уединившимся в свой кабинет мыслителем, решившимся издать лишь посмертный труд (Клаузевиц) или удалившимися уже в отставку

(Ллойд, Леваль, Шлихтинг, Шлиффен), или вообще находившимися вне армии (Бюлов, Дельбрюк). Официальная стратегия, начиная с Жомини, развивалась в буржуазных государствах под давлением реакционных кругов и в окончательном счете скомпрометировала себя настолько, что и в Берлине и в Париже кафедры стратегии были уничтожены. Но теория стратегии, изгнанная как самостоятельная дисциплина, сейчас же возрождалась в военной истории, в толковании опыта войн. Французы, чтобы быть последовательными, должны были изгнать из стен своей военной академии и преподавание военной истории.

Мы можем только поздравить французскую армию с такой ликвидацией: во французских условиях преподавание военной истории образовывало лишь цитадель военно-научной реакции, хранилище наполеоновских пережитков, передававшее свое музейное оружие на идеологическое вооружение комсостава.

В наших условиях ни военная история, ни стратегия, казалось бы, не заслуживают этой участи, если они откажутся от пути подражания в этих областях, требующих прежде всего диалектики, которая так плохо дается другим европейским армиям. Здесь перед нами развертывается участок идейной подготовки к войне, на котором Красная Армия могла бы обогнать своих возможных противников.

М. Н. ТУХАЧЕВСКИЙ.

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ.

(Заметки.)

ТЕРМИНЫ И СОДЕРЖАНИЕ.

Формы войны на протяжении всей исторической жизни народов постоянно изменялись в соответствии с развитием производительных сил, социальных отношений и политических форм общественной жизни. Ниже об этом будет говориться более обстоятельно; в данном же случае указать на это явление необходимо с той целью, чтобы само собой стало понятным и то, что терминология, применяемая в военно-научных вопросах, и самая сущность военно-научных положений точно также не могла оставаться постоянной и неизменяющейся. Если бы нам удалось рассмотреть военно-научное сочинение в письменной или устной форме, относящееся ко всем известным нам историческим временам, то мы увидели бы громаднейшее обилие и различных тактико-стратегических форм и различной терминологии. К сожалению, конкретного материала по этим вопросам, относящегося и к самым отдаленным временам, в нашем распоряжении не имеется. Но если даже взять развитие военной науки только в новейшие времена, то и здесь мы увидим на протяжении каких-либо полутораста лет основательное развитие и форм, и содержания, и терминологии военной науки.

Еще несколько десятилетий тому назад тактика означала учение о бое или о сражении. Стратегия наша была учением в объеме „тактики театра военных действий", т.-е. ограничивалась теорией использования сил действующих армий вне поля сражения. Особенно ясно и четко такое содержание вкладывалось в эти два основные термина в наполеоновскую эпоху, хотя уже к концу этой эпохи, а тем более в дальнейшем, эта ясность прогрессивно нарушалась. Но, как и всегда бывает, терминология далеко не так своевременно применяется к новым

условиям и постоянно отстает от жизни. Это привело в конце концов к тому, что сейчас термины „стратегия" и „тактика" всеми трактуются по разному и зачастую противоречиво.

Тактика предполагает в своей прежней трактовке учение о сражении. Однако, в современной войне сражения развертываются на колоссальных фронтах. Сражение является боевой границей между двумя враждебными театрами войны. Совершенно очевидно, что в таких условиях стратегия далеко не кончает своего дела, когда завязывается сражение. Маневрирование на театре военных действий возможно не только до, но и во время сражения.

В первый период деятельности Наполеона, особенно до 1813 года, тактика, действительно, полностью охватывала учение о сражении. Армии были не слишком многочисленными, сосредоточивались к бою на участках, настолько незначительных по фронту, что на всем поле сражения возможно было взаимодействие различных родов войск всей армии в совокупности. Главнейшими условиями наполеоновского гения являлось именно это обстоятельство, когда он не упускал из своих рук управления сражением, руководил не только общей постановкой задачи, но и сочетанием удара живой массы пехоты и кавалерии с могущественной и централизованной подготовкой этого удара артиллерией. То, что в настоящее время осуществляет на поле сражения командир корпуса или командир дивизии, то Наполеон осуществлял на всем поле сражения.

В этом заключались боевые преимущества главнокомандующих того времени по сравнению с сегодняшним днем. Одно и то же лицо подготовляло тогда и общестратегические условия для вступления в сражение и непосредственно руководило им. В настоящее время положение командующего крупного стратегического масштаба гораздо труднее. Правда, он подготовляет общие условия для завязки сражения; он может оказать, до известной степени, стратегическое влияние на ход боев, благодаря ширине фронта и возможности кое-каких перегруппировок в период сражения, но, вместе с тем, самое выполнение боя и взаимодействие различных родов войск, т.-е. по существу практическое разрешение стратегических мероприятий он должен передоверить общевойсковым командирам очень большого числа единиц. В современной обстановке командующий не может личным искусством повлиять на быстрый

выигрыш боя, а это требует от него создания условий, при которых выигрыш боя будет наиболее вероятным даже и при среднем решении и среднем руководстве многочисленного подчиненного ему командного состава, ибо нельзя требовать таланта и гения от всех без исключения командиров, профессионалов военного дела. Разумеется, это значительно затрудняет дело и требует от современного стратегического командования еще большей предусмотрительности и подготовленности.

Что же имеется общего между тактикой сегодняшнего дня и тактикой наполеоновской? Совершенно ясно, что современное сражение своим содержанием превышает объем тактики, но зато бой или взаимодействие различных родов войск, с целью разгрома противника на ширине участков, не превышающих возможности огневого взаимодействия в современных условиях, — по существу и является той тактикой, объемом которой довольствовался Наполеон. Современная тактика есть учение о бое различных родов войск во взаимодействии, но не учение о сражении. Формы войны времени Наполеона позволяли этим двум понятиям „сражение“ и „бой“ совпадать по своим границам. В настоящее время формы войны резко разграничили эти понятия, и, естественно, тактика должна быть охарактеризована более точно.

Взаимодействие различных родов войск осуществляется ныне в войсковом соединении не свыше стрелкового корпуса. Командир современного корпуса является тем решителем исхода боя, коим раньше был сам главнокомандующий. Это, конечно, не означает, что столь ответственное значение корпусной единицы должно ее поставить выше тактической. Как раз наоборот. Корпус, ведя бой и выигрывая таковой, создает основные элементы, необходимые для выигрыша всего сражения, но он не может повлиять на исход сражения больше, чем размером победы на своем участке. Конечно, от частных побед могут происходить и более крупные, но на современных грандиозных фронтах лишь победа на достаточно широком фронте и достаточно мощными силами, т.-е. во всяком случае многими корпусами может оказать решительное влияние на исход сражения.

Очень часто корпус характеризуют, как низшую стратегическую единицу. Такой взгляд ведет лишь к тому, что корпус, направляя всю силу своих устремлений к стратегическим пер-

спективам, отрывается и слабеет в вопросах решения общевойсковых тактических задач, которые по существу являются его основной целью. Конечно, корпус, являясь высшей тактической единицей, тем самым становится и первой расчетной стратегической единицей. В процессе работы таковыми единицами очень часто бывают даже и дивизии, но быть расчетной единицей в общем стратегическом плане еще не означает быть единицей, способной к самостоятельному разрешению стратегических задач.

Если мы обратимся и к организационным формам стратегической и тактической единицы, то увидим, что в этом отношении между корпусом и более высокими объединениями также лежит резкая граница. Корпус является единицей штатной, с постоянным обозом, с определенным устройством своего войскового тыла. Все более высокие объединения (армии и фронты) не имеют штатного состава своих боевых сил, не имеют штатного состава транспорта и организацию своего тыла осуществляют путем согласования железнодорожного и автогужевого транспорта. Именно благодаря такому характеру организации тыла и, главным образом, наличию в своем распоряжении железнодорожного транспорта, армия, как стратегическое объединение, может целым рядом стратегических мероприятий вмешиваться в ход развития сражения. Но боя армия не ведет. Корпус же ведет и руководит таковым.

Итак, современная тактика характеризуется прежде всего организацией боя, предполагающей взаимодействие различных родов войск. Современная стратегия охватывает и прежнее понятие, т.-е. „тактику театра военных действий". Однако, это последнее осложняется тем, что стратегия не только подготовляет, но и участвует и влияет на исход сражения. Современная операция заключается в сосредоточении необходимых сил для нанесения удара и в нанесении этими силами противнику постоянных и непрерывных ударов на протяжении весьма глубокого пространства. Характер современного оружия и современного сражения заключается в том, что разбить живую силу неприятеля одним ударом в однодневном бою является делом невозможным. Сражение в современной операции растягивается на ряд боев не только по фронту, но и в глубину до тех пор, пока или не будет нанесен противнику окончательный, уничтожающий удар *или* же пока не выдохнутся

наступающие силы. В этом отношении современная тактика театра военных действий гораздо сложнее наполеоновской и еще более усложняется она тем, упомянутым выше, неизбежным положением, при котором стратегический руководитель не может лично организовать боя.

Но всем вышеизложенным не исчерпывается развитие и усложнение современного военного дела. Общее развитие производительных сил, рост финансового капитала, — все это повлекло за собой столь огромное возрастание вооруженных сил и столь огромный рост участия всей страны в ведении войны и отдельных ее кампаний, что явилась необходимость теоретически обосновать эту сторону военного дела. Современные условия настоятельно требуют науки о войне, которой до сих пор не существовало. Отдельные сочинения, касавшиеся этого вопроса до империалистской войны, лишь указывали на его важность, но не давали ему конкретных форм. Все государства Антанты и центральные державы, вступившие в империалистскую войну 1914 — 1918 гг., не были подготовлены к этой войне, не были подготовлены к ее размерам и формам, и лишь в период ее развития на-ощупь развили свои боевые возможности.

Эта новая отрасль военной науки до сих пор еще не имеет определенного термина. Ее называют и стратегией, и высшей стратегией, и высшим учением о войне и пр. Однако, все эти термины не слишком хороши. Стратегия происходит от греческого слова „*стратейя*“, что означает: армия, военный поход, операция, т.-е. стратегия, примерно, характеризует собою „тактику театра военных действий“. Высшая стратегия, высшее учение о войне и т. п. по существу не являются терминами. Очевидно, таковой должен народиться. Если его брать от слова „*полемос*“, что по-гречески обозначает „война“, то напрашивался бы термин „полемика“, однако, вовсе не подходящий, как имеющий совершенно другой смысл. Быть может, лучше будет произвести термин и от *полемос* и от *стратейя*, т.-е. что-нибудь в роде „полемостратегия“.

ВОЙНА, КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ.

Война представляет собою организованную вооруженную борьбу, в зависимости от эпохи, или одних общин с другими, или народов с народами, или классов с классами, или борьбу

народов в интересах того или иного класса и т. п. Словом, в зависимости от степени развития производительных сил, характер войны меняется. Прежде всего это отражается на характере основного инструмента войны, т.-е. вооруженной силе.

Естественно, понятие о войне, а не просто о борьбе, возникает лишь в условиях общественного быта, начиная с родового.

Если мы возьмем общественные условия родового быта периода варварства, то увидим, что там вооруженной силой является само вооруженное общество, которое для ведения войны не имеет особых специалистов военного дела, не имеет особых воинских частей и само в нужную минуту поднимается и ведет войну за свои насущные интересы. Только в дальнейшем появляются постоянные дружины. Первобытная система вооруженной силы носит, таким образом, черты милиционного строительства. Обращает на себя при этом внимание и то обстоятельство, что, не имея специальной армии, вооруженная община выступает на войну иногда всем своим составом. Благодаря этому, все неспособные носить оружие — женщины, старики, дети — несут хозяйственные и тыловые обязанности, а с другой стороны, община волей-неволей принуждена искать источник пропитания там, где она ведет войну. Организованный тыл отсутствует.

Вместе с распадением общины и кристаллизацией классов, милиционные формы вооружения, естественно, становятся рискованными, и господствующие классы организуют специальные армии, особо обучаемые и привлекаемые к интересам господствующего класса. Но и организованные вооруженные силы претерпевают, на протяжении истории развития общества, такие же колебания и изменения, как и само общество. Не все государства, не все классы умели обеспечить себе могущество, как в силу общих условий, так и в силу своих способностей и к экономической и к чисто военной стороне дела. Однако, мы всюду видим, что, чем культурнее государство, чем значительнее развиты его производительные силы, чем большими средствами и техникой оно располагает, тем более организованная армия имеется в его распоряжении и тем большей степени военного совершенства она достигает.

Феодальный строй никогда не позволял организованной вооруженной силе достигнуть массовых размеров и централи-

зованного управления. Государственная власть для этого являлась слишком слабой. Только с ростом капиталистического хозяйства и укреплением и централизацией государственной власти начинают расти и крепнуть вооруженные силы.

По мере развития капиталистических отношений и до наших дней, строительство вооруженных сил постоянно меняется. Наемные войска заменяются всеобщей воинской повинностью. Великая Французская Революция, развязавшая руки буржуазии и удовлетворившая непосредственные интересы крестьянства, впервые дала возможность организовать массовые вооружения, которые были противопоставлены худосочным регулярным армиям европейских монархов, оказавшимся неспособными к неравной борьбе. Только с падением феодализма в остальных государствах Европы явилась и там возможность перейти к всеобщей воинской повинности и развертыванию массовых армий. Весь XIX век характеризуется постоянным ростом массовых армий, которые являются выражением развития промышленности и техники. Массовая армия без промышленности, обеспечивающей ей снабжение, была бы только вредным балластом, а не подавляющим орудием борьбы. Государство, достигшее наибольшего промышленного развития, могло позволить себе развертывание и наибольшей вооруженной силы. Эта идея получила общее название „вооруженного народа". Войну постепенно стали вести не армии, а все государство и вся страна в целом.

ВООРУЖЕННЫЙ НАРОД.

Конечно, вооруженный народ — понятие такое, которое необходимо соответствующим образом расшифровать. Действительно, к ведению борьбы привлекается вся страна с ее многочисленным населением. Однако, не вся страна или, лучше сказать, не все классы этой страны заинтересованы в ведении войны. Наоборот, рабочий класс и крестьянство являются козлами отпущения в войнах, ведущихся буржуазным классом в своих интересах. В силу этого, „вооруженный народ" приходится понимать условно. Само собою разумеется, что самой сильной формой вооруженного народа была бы всеобщая милиция. Однако, эта форма, позволяющая максимальное использование и людских и материальных богатств страны, чрезмерно приближает рабочие и крестьянские массы к вопросу о целях

войны и вообще к военной политике. В таких условиях буржуазный класс не может, конечно, рассчитывать на то, чтобы его интересы стали всегда защищаться, несмотря на всю силу государственного аппарата. Благодаря этому, вместе с развитием многомиллионных армий постоянно шло и развитие кадров мирного времени. Только таким путем, т.-е. наличием многочисленных кадров и длительным обучением в казармах, капиталистические государства могли и могут оказывать достаточное политическое влияние на армию и на ведение ею войны. Законченных форм вооруженный народ может достигнуть только в стране социализма.

Несмотря на все меры предупредительного и карательного порядка, принимаемые буржуазными государствами в целях укрепления и дисциплинирования многомиллионных армий, формы развития производительных сил и сопутствующие им формы войны заставляют развивать вооруженные силы во время войны до колоссальных размеров, при которых фактически вооружается значительная часть эксплоатируемого и революционизирующегося рабочего класса. Вместе с тем, тяготы войны и длительность ее растут вместе с общими ее размерами. Все это ведет к тому, что война в интересах капиталистов, война империалистская, может легко превратиться в войну гражданскую, когда эксплоатируемые классы, не только пролетариат, но и крестьянство, повернут оружие против своего внутреннего врага, против своих непосредственных эксплоататоров.

Само собою разумеется, что до тех пор, пока будут существовать классы и государственная власть будет находиться в буржуазных руках, война будет являться неизбежным злом, порождаемым социальным неустройством, несовершенством общества. Если во времена родового быта и существовали войны, хотя классов и не было, то это было лишь потому, что состояние производительных сил было настолько низко, что экономического базиса, обобщающего интересы разрозненных и многочисленных родов, не было, и без этого не было возможности организации хозяйственного объединения отдельных общин.

Развитие монополистического капитализма, проникающего далеко за пределы отдельных государств и охватывающего чуть ли не весь мир, сопровождающееся столкновением эконо-

мических интересов и противоречий монополистов, создает новую фазу для дальнейших войн, как основного орудия империалистской политики. Как говорилось уже выше, империалистские войны вооружают многомиллионные массы рабочих и крестьян, что создает прямую угрозу буржуазной власти. В силу этого, как экономически капиталистическое хозяйство по мере своего развития движется к гибели, так и в политическом отношении власть буржуазии доходит до самоотрицания, вооружая многомиллионные массы рабочих и крестьян, при чем без этих вооружений она не может ни отстоять, ни обеспечить своих растущих экономических интересов. Вместе с приближением новых мировых империалистских войн, приближается и падение буржуазной власти.

СУДЬБЫ ВОЙНЫ.

Социалистический строй, при котором исчезают классы и эксплоатация, вместе с упрочением и расширением мирового социалистического хозяйства, автоматически исключает необходимость и возможность дальнейших войн. Войны изживают себя, а человечество изживает эпоху величайших потрясений империалистских и гражданских войн.

Возможно ли уничтожить войны, пока существует капитализм, пока существует государство, пока существуют эксплоатируемые и эксплоатирующие классы? Конечно, невозможно. Однако, вся дипломатия международного капитала построена именно на провозглашении этого принципа. Бесконечные конференции, лиги наций, и т. п., все это является лицемерным пацифизмом воинствующего империализма.

На пленуме Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала в 1925 году был рассмотрен вопрос о возможности, о формах и об истинном характере стабилизации капитализма. Целый ряд представителей Коммунистическаго Интернационала переоценивал организационные возможности империализма. Вера в эпоху пацифизма была чрезмерно велика. Эти взгляды были осуждены.

Тов. Ленин, критикуя определение империализма, данное Каутским, говорит:

> „Определение Каутского не только не верное и не марксистское. Оно служит основой целой системы взгля-

дов, разрывающих по всей линии и с марксистской практикой, о чем еще пойдет речь ниже. Совершенно несерьезен тот спор о словах, который поднят Каутским: назвать новейшую ступень капитализма империализмом, или ступень финансового капитала. Называйте, как хотите: это безразлично. Суть дела в том, что Каутский отрывает политику империализма от его экономики, толкуя об аннексии, как „предпочитаемой" финансовым капиталом политике, и противопоставляя ей другую возможную, будто бы, буржуазную политику на той же базе финансового капитала. Выходит, что монополии в экономике совместимы с немонополистическим, ненасильственным, незахватным образом действий в политике. Выходит, что территориальный раздел земли, завершенный как раз в эпоху финансового капитала и составляющий основу своеобразия теперешних форм соревнования между крупнейшими капиталистическими государствами, совместим с неимпериалистской политикой. Получается затушевывание, притупление самых коренных противоречий новейшей ступени капитализма, вместо раскрытия глубины их, получается буржуазный реформизм вместо марксизма." [1]

И далее:

„С чисто экономической точки зрения, — пишет Каутский, — не невозможно, что капитализм переживет еще одну новую фазу, перенесение политики картелей на внешнюю политику, в фазе ультра-империализма, т.-е. сверх-империализма, объединения империализмов всего мира, а не борьбы их, фазу прекращения войн при капитализме, фазу „общей эксплуатации мира интернационально объединенным финансовым капиталом".

На этой „теории ультра-империализма" нам придется остановиться, чтобы подробно показать, до какой степени она разрывает решительно и бесповоротно с марксизмом. Сообразно общему плану настоящего очерка, взглянем на точные экономические данные, относящиеся к этому вопросу, „с чисто экономической точки зрения" возможен ли „ультра-империализм".

---

[1] Н. Ленин. Империализм, как новейший этап капитализма. Собр. соч., том XIII, стр. 308 и 309.

Если понимать под чисто экономической точкой зрения „чистую“ абстракцию, тогда все, что можно сказать, сведется к положению: развитие идет к монополиям, следовательно, к одной всемирной монополии, к одному всемирному тресту. Это бесспорно, но это и совершенно бессодержательно.

Если же говорить о „чисто-экономических“ условиях эпохи финансового капитала, как об исторической конкретной эпохе, относящейся к началу XX века, то лучшим ответом на мертвые абстракции „ультра-империализма“ является противопоставление им конкретно-экономической действительности современного всемирного хозяйства. Разговоры Каутского об ультра-империализме поощряют, между прочим, ту глубоко ошибочную и льющую воду на мельницу апологетов империализма мысль, будто господство финансового капитала ослабляет неравномерности и противоречия внутри всемирного хозяйства, тогда как на деле оно усиливает их.[1]

Еще далее:

„Теоретическая критика империализма у Каутского потому и не имеет ничего общего с марксизмом, потому и годится только как подход к проповеди мира и единства с оппортунистами и социал-шовинистами, что эта критика обходит и затушовывает как раз самые глубокие и коренные противоречия империализма: противоречие между монополиями и существующей рядом с ними свободной конкуренцией, между гигантскими „операциями“ (и гигантскими прибылями) финансового капитала и „честной“ торговлей на вольном рынке, между картелями и трестами, с одной стороны, и некартелированной промышленностью — с другой, и т. д.

Совершенно такой же отсталый характер носит, как мы видели выше, и сочиненная Каутским пресловутая теория „ультра-империализма“.

В самом деле, достаточно ясно сопоставить общеизвестные бесспорные факты, чтобы убедиться в том, насколько ложны перспективы, которые старается вну-

[1] Там же, стр. 309 и 310.

шить немецким рабочим (и рабочим всех стран) Каутский. Возьмем Индию, Индо-Китай и Китай. Известно, что эти три колониальные и полу-колониальные страны с населением в 6 — 7 сот миллионов душ подвергаются эксплоатации финансового капитала нескольких империалистических держав: Англии, Франции, Японии, С. Штатов и т. д. Допустим, что эти империалистические страны составят союзы — один против другого, с целью отстоять или расширить свои владения, интересы и „сферы влияния“ в названных азиатских государствах. Это будут „интер-империалистские“ союзы. Допустим, что все империалистские державы составят союз для „мирного“ раздела названных азиатских стран, — это будет „интернационально-объединенный финансовый капитал“. Фактические примеры такого союза имеются в истории XX века, например, в отношениях держав к Китаю. Спрашивается, мыслимо ли предположить, при условии сохранения капитализма (а именно такое условие предполагает Каутский), чтобы такие союзы были не кратковременны, чтобы они исключали трения, конфликты и борьбу во всяческих и во всевозможных формах.

Достаточно ясно поставить вопрос, чтобы на него нельзя было дать иного ответа, кроме отрицательного, ибо при капитализме немыслимо иное основание для раздела сфер влияния, интересов, колоний и пр., кроме учета силы участников дележа, силы обще-экономической, финансовой, военной и т. д. А сила изменяется не одинаково у этих участников дележа, ибо равномерного развития отдельных предприятий, трестов, отраслей промышленности, стран при капитализме быть не может. Полвека тому назад Германия была жалким ничтожеством, если сравнить ее капиталистическую силу с силой тогдашней Англии; то же — Япония по сравнению с Россией. Через десяток — другой лет мыслимо ли предположить, чтобы осталось неизменным соотношение сил между империалистскими державами? Абсолютно немыслимо.

Поэтому „интер-империалистские“ или „ультра-империалистские союзы — в какой бы форме эти союзы ни заключались, в форме ли одной империалистской коалиции, или в форме всеобщего союза всех империалистских дер-

жав — являются неизбежно лишь „передышками“ между войнами. *Мирные союзы подготовляют войны и в свою очередь вырастают из войн, обусловливая друг друга, рождая перемену форм мирной и немирной борьбы из одной и той же почвы империалистских связей и взаимоотношений всемирного хозяйства и всемирной политики“.* [1]

Таким образом, неизбежной причиной войн является, в первую очередь, экономика монополистического капитализма, а потому — пока будет существовать капитализм — войны неизбежны.

МАРКСИЗМ И ИЗУЧЕНИЕ ВОЙНЫ.

К военной дискуссии 1922 г. притянут был и вопрос о применимости марксизма к военным наукам. Безусловное большинство стояло на точке зрения необходимости применения. Однако, вопрос был затуманен формальным и почти административным нажимом, проводимым через журнал „Военный Вестник“ и другие журналы того времени.

Если в войнах феодальных и всех последующих до Великой Французской Революции война и носила внешне оторванный от жизни всей страны характер, то с дальнейшим развитием капитализма война и общественная жизнь переплетались все более и более тесно. Если тактика театра военных действий заключается в маневрировании живыми силами на фронтах войны, то ведение войны в современных условиях промышленных стран заключается в маневрировании живыми и экономическими ресурсами страны. Высылка многомиллионных масс на фронт, перестановка всей промышленности с мирного на военное производство вызывают такое колоссальное перераспределение и человеческих масс, и промышленного оборудования, и сырья, что отрывать эти вопросы, имеющие непосредственное и чисто военное значение, от вопросов социальных является делом невозможным и противоестественным. Генеральные штабы всех воевавших империалистских государств до 1914 года ограничивали свою деятельность узковоенными интересами, т.-е. организацией вооруженной силы, обеспечением ее необходимыми мобилизационными запасами

---

[1] Там же, стр. 328 и 329. Курсив мой. *М. Т.*

на известный период войны, стратегическим развертыванием и т. п., и далее этого не шли. Только в период самой войны они все столкнулись с фактом, что не овладели техникой современной войны. Армии остались без огнеприпасов. Промышленность осталась без рабочих, в виду непродуманной мобилизации рабочих масс. Вследствие этого промышленность долгое время не умела восстановить потрясенного равновесия, рабочие массы снимались с фронта и возвращались в промышленность, и т. д., и т. д. Наконец, чисто военные соображения вставали иногда в неразрешимые противоречия с общественными условиями жизни страны. Если внимательно проследить этот вопрос и в сочинениях Людендорфа и в сочинениях французских и наших военных писателей, то мы увидим, какой колоссальный вред принесло армиям то, что их генеральные штабы, что вся их подготовка к войне были оторваны от общественной жизни, не были на ней построены. Если в тактике социальные моменты не всегда играют решающую роль, хотя в целом ряде случаев они такую роль и играют, то в вопросах ведения войны вопросы социальные и экономические являются основными данными стратегического или полемостратегического расчета. Возможно ли в таких условиях утверждать, что марксизм в военной науке неприменим? Было бы наивно думать, что пушка может стрелять „по-марксистски", но вредной, отсталой и консервативной была бы попытка сузить рамки военной науки, оторвать войну многомиллионных армейских масс от всей борьбы вооруженных народов и классов и проводить китайскую стену между изучением военного дела и марксизмом.

ПОЛИТИКА И ВОЙНА.

Клаузевиц о войне и политике говорит: „Война есть не только действие политическое, но она просто настоящее орудие политики; это — продолжение политических отношений, проведение все тех же политических стремлений, хотя бы особыми средствами. За войной остаются только те особенности, которые присущи ее природе".[1]

Товарищ Ленин в своих сочинениях неоднократно возвращался к этому вопросу. Цитируя и развивая это основное по-

[1] Клаузевиц. „Война". Перевод К. Войде, 1902 г., т. I, стр. 21.

ложение Клаузевица, „в применении к войнам,—говорит Ленин,— основное положение диалектики, так бесстыдно извращаемой Плехановым в угоду буржуазии, состоит в том, что „*война есть просто продолжение политики другими*“ (именно насильственными) „*средствами*“. Такова формулировка Клаузевица, одного из великих писателей по вопросам военной истории, идеи которого были оплодотворены Гегелем. И именно такова была всегда точка зрения Маркса и Энгельса, *каждую* войну рассматривавших как *продолжение* политики данных, заинтересованных держав — *и разных классов* внутри них — в данное время“.[1]

Война представляет собой вооруженную борьбу народов или его отдельных классов для улучшения своего экономического положения. Это верно как для империалистов, ведущих войны с целью расширения своих рынков и увеличения своего монополистического господства, так и для угнетенных классов, ведущих борьбу против классов господствующих, или для колониальных народов, ведущих борьбу с империалистами. Так или иначе, какие бы внешние формы ни носила война, она всегда имеет под собою экономическую подкладку, при чем борьба ведется за улучшение или за расширение своего экономического благополучия и богатства. Вполне понятно, что эти основные экономические интересы и порождают ту политику, которая в известных условиях неминуемо вызывает войну, являясь в полной мере концентрированным выражением экономики.

Политика не является беспомощным детищем экономики. Рождаясь из экономики, она в той или иной степени регулирует экономику. Если в условиях капиталистического государства политика не может планомерно руководить экономикой, то все же некоторое влияние она на нее оказывает. В условиях же социалистического государства политика оказывает на экономику решающее влияние. Эта последняя развивается не стихийно и не хаотически, а в развитие общих перспектив, планомерно и последовательно, под руководством экономической политики пролетарского государства. Таким образом, рождаясь из общей суммы экономических факторов, политика в той или иной мере организует, развивает и направляет дальнейший

---

[1] Н. Ленин. Собр. соч., т. XIII, стр. 144—145.

экономический рост. Политика не есть нечто отвлеченное, что можно противопоставить и экономике и войне и пр. Она тесно переплетается со всем социально-экономическим базисом той или иной страны.

С развитием производительных сил формы политики усложняются. Мы наблюдаем политику экономическую, в частности, финансовую, торговую, индустриальную, политику международную, которая в настоящее время чрезвычайно усложнилась, ибо к классово-государственной политике отдельных государств присоединяется еще международно-классовая пролетарская политика, создающая совершенно новый политический переплет.

Каждое государство, не только социалистическое, но и буржуазное (имеющее анархический экономический базис), всячески стремится руководить экономическим развитием страны путем политического воздействия. Эта политика в настоящих условиях, особенно для крупных империалистических государств, чрезвычайно разнообразна. Мы, например, видим сейчас, в Северо-Американских Соединенных Штатах, какую колоссальную роль играет финансовая политика американского капитала. Вся европейская политика в значительной мере руководствуется интересами финансовой политики Северной Америки. И эта, если можно так выразиться, „мирная политика" разнообразится интервенционистской политикой в Никарагуа. Торговая и индустриальная политика империалистских государств оказывает решающее влияние на жизнь многих стран, особенно колониальных.

Иностранная политика отстаивает те или другие интересы экономической политики господствующего класса. Эти классовые интересы отстаиваются и во время войны. „Класс,—говорит Ленин, — который господствует, определяет политику и в войне. Война насквозь есть политика, продолжение осуществления этими классами тех же целей другим путем".[1]

„Как же найти „действительную сущность" войны, — как определить ее? Война есть *продолжение политики*. Надо изучать политику перед войной, политику, ведущую и приведшую к войне. Если политика была империалистическая, т.-е. защищающая интересы финансового капитала, грабящая и угнетаю-

[1] Ленин, т. XIV, ч. I, стр. 310.

щая колонии и чужие страны, то и война, вытекающая из этой политики, есть империалистская война. Если политика была национально-освободительная, т.-е. выражавшая массовое движение против национального гнета, то война, вытекающая из такой политики, есть национально-освободительная война".[1]

Таким образом, борьба между государствами, осуществляющими политику господствующих классов, ведется всеми возможными средствами, как военными, так и невоенными, является постоянной и непрерывной и будет вестись до тех пор, пока диктатура пролетариата и социалистические формы хозяйства не охватят всего земного шара и не упорядочат международной экономики. Когда политическая власть какого-либо государства сопротивляется экономическому давлению на нее другого государства и это последнее не видит возможности экономическим путем преодолеть сопротивление, тогда пускается в ход сила оружия. Однако, и эта последняя область, т.-е. применение оружия, несмотря на все своеобразие военной стихии, все-таки нельзя оторвать от общего костяка экономической мощи и жизни дерущихся стран.

Война — такой политический акт, который, по сравнению со всеми прочими актами международной и внутренней политики, отличается наибольшей стихийностью, так как чрезвычайно осложняется разного рода привходящими данными не только стратегического искусства, но социального и международного порядка, почему даже самое могущественное государство может проиграть и похоронить свое могущество на театре военных действий. Английский империализм, который, казалось бы, раздавил молодой германский имериализм, сам лег костьми в империалистской войне, ибо война ускорила и оформила процессы распадения английского империализма. Война — это самое сильное, но и самое рискованное действие, которое может пустить в ход политика. Вот почему война является крайним средством политики. К войне прибегают лишь тогда, когда для основных предпосылок развития экономического благополучия нет никаких перспектив без уничтожения или ослабления враждебной политической власти, или когда обстановка для войны складывается исключительно благоприятно.

---

[1] Ленин, т. XIII, стр. 344.

Государство, обладающее наибольшими промышленными ресурсами, будет при прочих равных условиях и наиболее могущественным государством в военном отношении. Империалистская война 1914—18 гг. с особой ясностью доказывает, что сила на войне принадлежит экономике и численности. Однако, это в общем и целом правильное положение требует и известной поправки. Без хорошо подготовленной военной организации и вооруженных сил война обходится непомерно дорого и накладно. Как упоминалось уже выше, английский империализм задавил германский, но эта победа была для него хуже Пирровской. Германия выдержала гораздо большее напряжение, чем Англия и Франция, но, благодаря исключительно высокой боевой подготовке армии и сравнительно бо́льшей подготовке страны, это напряжение обошлось сравнительно легче германской буржуазии, и ныне Германия экономически растет быстрее и успешнее своих победителей, что несомненно в известной степени объясняется, своего рода, „режимом экономии“ в ведении войны.

Война есть продолжение политики, но другими средствами. Однако, это положение не означает, что политика прекращается во время войны. Товарищ Ленин так выразил это положение: „война есть продолжение политики. И политика тоже „продолжается“ *во время* войны“![1]

Продолжение политики во время войны осуществляется прежде всего в ее экономических формах: экономическая блокада, прорыв коммуникаций, питающих страну теми или другими источниками сырья, и пр. Уже в борьбе с Великой Французской Революцией мы видим применение экономической блокады. Во время империалистской войны эти формы получили самое широкое применение. Англия блокировала Германию, а Германия пыталась блокировать Англию путем подводной войны.

Дипломатия не прекращает своей деятельности после объявления войны. Иностранная политика, пользуясь всеми ходами и выходами экономических связей и переплетения между воюющими и нейтральными государствами, постоянно проводит необходимые мероприятия, прощупывание и переговоры с враждебной стороной.

---

[1] Ленин, т. XIII, стр. 388.

Все эти и многие другие формы государственно-классовой политики во время войны осложняются теперь международной политикой пролетариата. Война войне, борьба за поражение капиталистов своей страны и пролетарская революция до крайности усложняют политику буржуазного государства, заставляя его вести борьбу на два фронта: против враждебных империалистских хищников и против своего революционного рабочего класса.

Таким образом война, являясь одним из средств политики, развивается на ряду со всеми прочими политическими действиями, являясь в то же время наиболее решительным и могущественным средством политики.

Результаты, достигаемые войной, как промежуточные, так и конечные, могут весьма сильно повлиять на масштаб и формы политики. Захват новой территории, расширение базиса войны может создать новое соотношение сил и изменить, расширить первоначальные политические цели, и наоборот, потеря территории, потеря основных промышленных базисов, питающих войну, или поражение вооруженной силы может повлечь сокращение первоначальных политических целей. В результате войны, политика может от количественных изменений перейти и к качественным, что зависит от того, за каким классом останется господствующая роль. Энгельс, между прочим, говорит по этому поводу следующее: „Введение огнестрельного оружия повлияло преобразующе не только на самое ведение войны, но и на политические отношения господствовавших и угнетенных классов. Для того, чтобы добыть огнестрельное оружие, нужна была промышленность и деньги, а тем и другим владели горожане. Огнестрельное оружие было поэтому с самого начала оружием городов и монархии, опиравшейся на города в своей борьбе против феодального дворянства. Недоступные доселе каменные стены рыцарских замков не устояли перед пушками горожан. Пули бюргерских ружей пробили рыцарские панцыри“.[1]

В наши дни это значение войны, как родоначальника новых политических эпох, особенно разительно. Современная война между группами империалистов не только создает новые политические взаимоотношения между враждовавшими лаге-

---

[1] Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, Петроград, 1918, стр. 148 — 149.

рями, но и создает новые отношения между враждующими классами. Вооружение многомиллионных масс рабочих и крестьян, передача в их руки всей современной убийственной техники, являющейся основой политической власти государства, — неизбежно ставят вопрос о том, что война может породить не только новые политические отношения между воюющими государствами, но может породить и новые политические отношения внутри этих государств, передав государственную власть в руки пролетариата.

Политика в войне того или другого государства определяет собою и характер этой войны.

„Новую эпоху в истории человечества открыла Великая Французская Революция. С этих пор и до Парижской Коммуны, с 1789 до 1871 г., одним из типов войн были войны буржуазно-прогрессивного, национально-освободительного характера. Другими словами, главным содержанием и историческим значением этих войн было свержение абсолютизма и феодализма, подрыв их, свержение чуженационального гнета. Поэтому это были прогрессивные войны, и все честные революционные демократы, а также все социалисты, при таких войнах, всегда сочувствовали успеху той страны (т.-е. той буржуазии), которая содействовала свержению или подрыву самых опасных устоев феодализма, абсолютизма и угнетения чужих народов. Например, в революционных войнах Франции был элемент грабежа и завоевания чужих земель французами, но это нисколько не меняет основного исторического значения этих войн, которые разрушали и потрясали феодализм и абсолютизм всей старой крепостнической Европы. Во франко-прусской войне Германия ограбила Францию, но это не меняет основного исторического значения этой войны, освободившей десятки миллионов немецкого народа от феодального раздробления и угнетения двумя деспотами, русским царем и Наполеоном III“.[1]

„Эпоха 1789 — 1871 гг. оставила глубокие следы и революционные воспоминания. До свержения феодализма, абсолютизма и чуженационального гнета не могло быть и речи о развитии пролетарской борьбы за социализм. Говоря о законности „оборонительной“ войны по отношению к войнам *такой*

[1] Ленин, т. XIII, стр. 93 и 94.

эпохи, социалисты всегда имели в виду именно эти цели, сводящиеся к революции против средневековья и крепостничества. Социалисты всегда понимали под „оборонительной“ войной „*справедливую*“ в этом смысле войну (В. Либкнехт однажды так и выразился).

„*Только в этом смысле социалисты признавали и признают сейчас законность, прогрессивность, справедливость, „защиты отечества“, или „оборонительной“ войны. Например, если бы завтра Марокко объявило войну Франции, Индия — Англии, Персия или Китай — России и т. п., это были бы „справедливые“, „оборонительные“ войны, независимо* от того, кто первый напал, и всякий социалист сочувствовал бы победе угнетаемых, зависимых неполноправных государств против угнетательских, рабовладельческих, грабительских „великих держав“.[1]

Вот почему борьба между империалистами, кто бы первым и под каким бы предлогом ни напал, является всегда войной грабительской, война же пролетарского советского государства против империалистов будет „справедливой“, „оборонительной“ войной.

Разумеется, связь политики с войной ни в коем случае не означает того, чтобы частные политические интересы могли играть решающую роль при выполнении тех или других боевых операций. Если война является фактором социальным, то столкновение двух армий, по крайней мере на современной ступени развития производительных сил и соответствующих им форм военных действий, является актом *до некоторой степени* оторванным от общей жизни страны. Это положение, конечно, должно быть некоторым образом оговорено. Говоря о независимости боя и операций от общей жизни страны, приходится заметить, что трудно указать рамки такой „независимости“. Если, например, одна операция, развивающаяся на территории противника в глубину, скажем на сто верст, может и не иметь непосредственной связи с общественными явлениями, то ряд операций, на протяжении нескольких сот верст в глубину, неминуемо свяжется с таковыми, вследствие необходимости организовать государственную власть на вновь занятой территории, в целях обеспечения прочного тыла

---

[1] Н. Ленин, т. XIII, стр. 94.

и эксплоатации ее средств, а также вследствие того, что новые социальные, национальные и прочие моменты на занятой территории и вытекающие отсюда политические последствия не могут не повлиять на развитие операций. Таким образом, границы чисто военной стихии очень трудно отделить от общественных явлений вообще. Однако, в этом вопросе необходимо трезво и здраво оценивать практическое значение каждого отдельного события.

Особенно большая связь возникает между отдельными операциями и сражениями со всей жизнью страны в том случае, когда армии не являются вполне боеспособным организмом, когда в армии отражаются и развиваются социальные противоречия, имеющие место в глубоком тылу. Опыт войн говорит нам о том, что в таких случаях отдельные победы и поражения имеют зачастую решающее влияние на политическое положение страны, вследствие чего политика прибегает к формам исключительной, мелочной опеки отдельных боевых операций и сражений.

В случае, если армия боеспособна, если она понимает, что защищает свои собственные классовые интересы, то политика заинтересована в том, чтобы предоставить развитию боевых операций наибольшую свободу и освободить ее от излишней опеки, с тем чтобы операция служила не отдельным текущим политическим интересам, а общим политическим целям и направлению, преследуемым в войне. Эти цели достигаются, в основном, вооруженной силой и ее стратегическими действиями. Чем больше цельности, единства плана и последовательности, с точки зрения уничтожения неприятельских вооруженных сил, будет проявлено действующей армией, тем более совершенно будут достигнуты конечные цели политики. История войн говорит нам о том, что политика часто вмешивалась в формы ведения стратегических операций и под влиянием второстепенных политических факторов разрушала стройность боевых действий. Исторический опыт говорит нам о том, что такое руководство войной неизбежно кончалось неудачами, затяжкой борьбы и т. п. Поэтому железная воля, выдержка, умение отказываться от второстепенных интересов, во имя основных целей войны, являются условиями, при которых развитие стратегических операций становится наиболее обеспеченным.

ВОЙНЫ В ЭПОХУ ИМПЕРИАЛИЗМА.

Война является последней ставкой политики на пути осуществления ею своих основных экономических интересов, что требует, конечно, большой силы политического воздействия. Поднятие многомиллионных армий может оказаться не только бесполезным, но и гибельным для государства, если оно не является политически устойчивым. Поэтому не всякое государство, даже при наличии мощно развитой промышленности, может являться боеспособным. Эта способность определяется тем, какому классу принадлежит государственная власть, а также степенью обострения классовых противоречий.

Если мы коснемся условий, в которых развиваются современные войны, то прежде всего столкнемся с фактом мобилизации страны, о чем говорилось уже выше. Развитие производительных сил неминуемо требует выставления многомиллионных армий, вооруженных по последнему слову техники и в полном соответствии с богатством и развитием промышленности государства. Это требует, разумеется, всеобщей мобилизации промышленности. Даже не участвующие в войне страны увлекаются общим потоком мобилизации и переворачивают свою промышленность с мирного на военный образец. Таким образом, масштаб современной империалистической войны неминуемо вырастает до грандиозных размеров.

Мобилизация промышленности требует конкретного плана перекройки всей мировой продукции под военную гребенку. Однако, анархически-капиталистический способ производства ставит на этом пути трудно преодолимые рогатки для буржуазии. Правда, монополистические формы капитализма позволяют в этом отношении, при большом напряжении, достигнуть существенных результатов. Это вытекает из основных видов монополии: картели, синдикатов, трестов, захвата источников сырья, финансовой мощи и пр. Империализм имеет серьезные данные для организации военного производства. Это ясно, особенно в связи с тем ростом концентрации и рационализации, который замечается в настоящее время.

> „Когда крупное предприятие становится гигантским и планомерно, на основании точного учета массовых данных, организует доставку первоначального сырого материала в размерах $^2/_3$ или $^3/_4$ всего необходимого

для десятков миллионов населения; когда систематически организуется перевозка этого сырья в наиболее удобные пункты производства, отделенные иногда сотнями и тысячами верст один от другого; когда из одного центра распоряжаются всеми стадиями последовательной обработки материала, вплоть до получения целого ряда разновидностей готовых продуктов, когда распределение этих продуктов совершается по одному плану между десятками и сотнями миллионов потребителей (сбыт керосина и в Америке и в Германии Американским „Керосиновым трестом"),— тогда становится очевидным, что перед нами налицо обобществление производства, а вовсе не простое „переплетение" и т. д.[1]

Конечно, никогда капиталистическое государство не сумеет извлечь всей той военной выгоды из своих промышленных богатств, какие могло бы из них получить социалистическое хозяйство, находящееся на том же уровне процветания. Но тем не менее, с потерей значительного времени, с еще большим обогащением капиталистических заправил, эта задача, в конце концов, выполняется. Во время империалистической войны все государства потратили не мало сил и энергии и, разумеется, времени на то, чтобы наладить мобилизацию промышленности. После окончания войны не мало было разговоров и толков в генеральных штабах о том, что необходимо установить за промышленностью какое-то руководство со стороны государства. Работы по мобилизации промышленности, правда, ведутся еще и в мирное время. Несомненно, результаты мобилизации будут весьма велики, в виду общего богатства и развития производительных сил. Но вряд ли можно рассчитывать на то, чтобы буржуазное государство сумело планомерно и без потрясений переходить от мирного производства к военному.

Совершенно другие перспективы в этом отношении встают перед нашим Союзом. Наша страна была гораздо более разорена, чем западные капиталистические государства. Развитие производительных сил нашего Союза далеко не достигает тех размеров, которые мы видим на Западе. Но зато мы имеем то преимущество, что вся крупная промышленность объеди-

---

[1] Н. Ленин, „Империализм, как новейший этап капитализма", т. XIII, стр. 335.

нена в руках государства и направляется по общему плану развития социалистического хозяйства. Это позволяет нам подойти гораздо более планомерно и последовательно к вопросам мобилизации страны. Индустриализация Союза открывает в этом отношении совершенно новые перспективы.

В условиях нашего социалистического строительства гораздо легче достигнуть полной военизации страны и полного приспособления к ведению войны всех наших ресурсов, как людских, так и промышленных. И говорить, конечно, не приходится о том, что наша Красная Армия является единственной армией в мире, где интересы многомиллионных масс рабочих и крестьян совпадают с интересами государственной пролетарской власти. Мы имеем армию, имеющую исключительно прочный социальный базис.

Мобилизация промышленности, полная перекройка промышленного аппарата мирного времени на путь военного производства чрезвычайно быстро истощает и сырье, и фабричное оборудование. Вместе с тем, перераспределение сырья в соответствии с потребностями вооруженной силы, во время империалистической войны, постоянно становились вразрез с потребностями населения всей страны. Благодаря этому, мобилизация промышленности наносила столь большой ущерб народной жизни, что и промышленность, и общее благосостояние чрезвычайно быстро истощались. В этом отношении наши социалистические формы позволяют нам гораздо более планомерно справиться с мобилизацией промышленности, с учетом потребностей не только вооруженной силы, но и всей страны, т.-е. для обслуживания, в конечном счете, всех тех элементов, которые так или иначе участвуют в ведении и питании войны.

Развитие промышленности, успех военной техники и обильное применение ее на фронтах империалистической войны породили мнение, что основа ведения современной войны — это продукция военного производства, а, стало-быть, и промышленности. Многими разделяется мнение, будто бы людской материал и его обилие совершенно отходят на второй план. Такое представление в корне неверно. Конечно, промышленный базис является основой. Никакие многомиллионные армии, не будучи снабжены современной техникой, не могут бороться против серьезного вооруженного врага. Но, вместе с тем, если внимательно приглядеться к ходу борьбы 1914—1918 гг.,

мы видим, что исход войны зависел не только от превосходства объединенной промышленности Антанты над промышленностью Германии и ее союзников. Непосредственная военная гибель Германии в 1918 году, если не говорить о более глубоких социальных причинах, произошла именно из-за недостатка людского материала. Уже с начала войны и Франция, и Англия из-за недостатка людских ресурсов на своей территории усилили подготовку частей из колониальных народностей. К 1918 году эти народности составляли весьма почтенный процент французской и английской армий. Наконец, массовые американские формирования еще больше увеличивали приток свежих людских пополнений. И тем не менее, даже страны Антанты постоянно терпели недостаток в людях и постоянно, несмотря на общее увеличение военного снаряжения, должны были прибегать к расформированию и сокращению своих частей. Но Антанта все же справилась с этими затруднениями.

Если же обратиться к Германии, то уже с 1916 года она чувствует и испытывает величайший недостаток в человеческих ресурсах. Она систематически производит штатное сокращение своих боевых единиц. Наконец, в 1918 г. Германия должна постоянно сокращать и число своих стрелковых дивизий. Если же мы посмотрим на то, как производилось снабжение германских войск основными видами военного снаряжения, то увидим, что программа Гинденбурга значительно превышала потребности германской армии. В 1917 г. германская промышленность не только справилась с задачей удовлетворения нужд германской армии, но и значительно превзошла эти нужды. В течение 1917 г. по целому ряду отраслей военного производства происходило снижение заявок и снижение военного производства. Об этом говорят в своих воспоминаниях и Людендорф и Шварте. Особенно интересны данные, приводимые Шварте, из которых видно, что производство орудий и пулеметов, снарядов и винтовочных патронов было уменьшено в 1917 году десятками процентов. Таким образом, в 1918 г., т.-е. на четвертом году войны, мы замечаем излишек промышленного военного производства и полное истощение людских ресурсов. Если бы этих последних было в распоряжении германского верховного командования достаточно в 1917—1918 гг., то нет никакого сомнения, что численность германской армии, при наличии мощного военного

производства, можно было бы смело увеличить раза в полтора. И тогда исход операций в 1918 г., конечно, мог бы принять совершенно другой оборот. Еще весною 1918 г. можно было нанести английским и французским армиям ряд непоправимых поражений. Наконец, наличие людских ресурсов позволило бы германскому верховному командованию путем формирования новых частей начать ряд крупных операций еще в течение 1917 г., т.-е. до заключения Брестского мира.

Высоко промышленные страны впадают в этом отношении в глубокие противоречия. Промышленное развитие поглощает десятки миллионов рабочих масс, непосредственно работающих на военном производстве, создающих основную базу военного могущества. Но, с другой стороны, современная война поглощает и уничтожает такие массы людей, что эти страны не в состоянии справиться с задачей непрерывного пополнения их убыли. Для них встает неминуемо вопрос о пополнении извне, из менее развитых капиталистических стран, главным образом, колоний, и в этом отношении, т.-е. в отношениии людских ресурсов, питающих войну, империалисты не могут обойтись без колоний.

Это положение требует обязательных группировок империалистских стран при борьбе друг с другом. Те страны, которые блокируются, не обеспечив себя достаточным сырьем и достаточными людскими ресурсами, неминуемо погибнут в длительной империалистской войне. Вполне понятно, какое значение, при таких условиях, имеет правильное обеспечение коммуникаций для снабжения сырьем и людскими ресурсами при посредстве группировок с теми или другими странами. Союз центральных держав проиграл империалистскую войну уже тогда, когда создался сам блок. Он не был обеспечен ни тем, ни другим.

РАССТАНОВКА СИЛ.

Войны эпохи империализма ведутся коалициями капиталистических держав. Эти коалиции еще до войны начинают оформляться в форме тайных и явных договоров, означающих по существу „расстановку сил“ на случай войны.

До империалистской войны 1914—1918 гг. также намечалось две основных коалиции. На деле оказалось, что война велась не совсем теми союзами, как это намечалось в мирное

время. В этом сказались противоречия между различными империалистскими державами и шаткостью всякого рода договоров и союзов между такими государствами. Это факт чрезвычайно важного значения, и он определяет собою ход развития империалистской войны. Таковая может начаться союзами или коалициями не в том составе, как намечалось до войны. Это — во-первых, и, во-вторых, фактическое соотношение коалиций в начале войны не остается постоянным, а продолжает изменяться на протяжении всей войны. Так, например, против Германии в первый период войны выступили Англия, Россия и Франция, а в дальнейшем на сторону Антанты перешел почти весь мир. Эта условность и динамика в союзах и соотношение сил воюющих империалистских сторон оказывает решающее влияние на стратегические выводы об империалистской войне.

Вторым важным вопросом подготовки империалистских войн является сочетание промышленных ресурсов с людскими и сельскохозяйственными. Коалиция должна быть так составлена, чтобы она представляла собою уравновешенное целое, позволяющее вести напряженную и длительную войну, способное выставить могучую вооруженную силу, с полным снабжением ее во время войны и, наконец, обеспечивающее непрерывный рост вооруженных сил. Опыт империалистской войны говорит нам о том, что с каждым годом, по мере последовательной мобилизации новых сил и средств, вооруженные силы все больше и больше росли. Рост вооруженных сил слагается, с одной стороны, из дополнительных мобилизаций, а с другой стороны — из роста коалиции, путем вовлечения в войну новых государств. В таких условиях пропорциональность промышленных и сельскохозяйственных ресурсов имеет совершенно исключительное значение.

Однако, на практике империалистским государствам не так-то легко бывает осуществить это требование. Как упоминалось уже выше, коалиции легко видоизменяются по своему составу не только во время войны, но и в момент объявления войны, а потому отдельные коалиции могут в этом отношении стать перед задачей неразрешимых противоречий.

Империалистская война, втягивающая в себя страны всего мира, поднимающая в армию десятки миллионов людей и обслуживаемая сотнями миллионов населения, развивающаяся

одновременно на громадных территориях, не может, конечно, окончиться в короткий срок. Несмотря на всю гибельность и разрушительность длительных войн, несмотря на величайшее напряжение империалистов, войны все-таки не могут кончаться быстро и неминуемо затягиваются.

В какие же формы выльется стратегия империалистской войны в вышеочерченных условиях?

С большей или меньшей вероятностью в мирное время могут быть предусмотрены формы и характер первого периода войны. Группировка сил, начертание границ, изучение железнодорожной сети и пр. и пр., — все это дает необходимые исходные данные для характеристики первого периода войны заранее. Характер первого периода войны определяется еще и тем обстоятельством, что он (по крайней мере, так было во время империалистской войны) велся, главным образом, за счет тех материальных ресурсов (артиллерия, огнеприпасы и пр.), которые были накоплены в мирное время. Мобилизация промышленности дает громаднейшие результаты, но дает она их не сразу. Требуется известный переходный промежуток времени. Таким образом, первый период ведут войска, мобилизованные при объявлении войны, с использованием всех ресурсов, которые заготовлены в мирное время. В силу этого, первый период империалистской войны был маневренный, и таким же, в условиях столкновения большинства государств, он будет, повидимому, и в будущей войне.

Само собою разумеется, что если для стратегической и тактической доктрины первого периода войны мы и имеем достаточные данные в мирное время, то по отношению к дальнейшим периодам картина резко меняется. В последнее время нам пришлось много слышать и читать бесконечные споры о том, какой должна быть будущая война и какова будет ее стратегия: измора или сокрушения. Эти споры в значительной мере являются бесплодными. Мы не можем предусмотреть характера стратегии дальше первого периода войны, тем более, что этот первый период может кардинально изменить соотношение сил и географического положения борющихся сторон. Дальнейшие периоды, как это мы видим по опыту империалистской войны, резко отличаются от первого, и каждый последующий от предыдущего. Мобилизация промышленности и народного хозяйства воюющих стран, мобилизация промышленности стран

нейтральных, но вовлекаемых в военные поставки, из года в год делают все большие и большие успехи как в численном, так и в качественном материале военной техники. Точно также меняется и численность армий. Это положение вызывает постоянные изменения тактических и стратегических форм ведения войны. Нет ни одного рода войск, который бы в 1914—1918 гг. не менял ежегодно своих тактических приемов.

Каждый год приходилось издавать новые наставления, инструкции, положения и пр., определяющие характер действий боевых сил. Стратегическое применение войск точно также меняется. Боевые операции ведутся не непрерывно, а периодами, по мере накопления необходимой материальной части и снарядов. В общем, и тактика и стратегия различных периодов войны совершенно неодинаковы, и поэтому нельзя давать какого-либо общего рецепта для ведения будущей войны.

Как уже говорилось выше, первый период, по всей вероятности, будет маневренным периодом для большинства государств, во всяком случае таким он будет восточнее Рейна. Для этого вопроса особо важное значение имеет дислокация промышленности, питающей войну. Если, например, мы посмотрим на франко-германскую границу, то увидим, что Рурский район и Рейнская область включают в себя подавляющую часть всей германской военной промышленности. С другой стороны, точно также подавляющую часть содержат и 10 северных департаментов Франции. В силу этого, ни Франция, ни Германия не могут безнаказанно отступать, не могут безнаказанно отдавать свою территорию и волей-неволей будут вынуждены вступить в ожесточенную борьбу. Этот вопрос является чрезвычайно характерным для стратегической доктрины первого периода войны.

Не меньшее значение имеет и то положение, что, разбив группировку сил противников, которая подготовлялась в мирное время, несомненно можно достигнуть выгодного для себя перелома в ходе военных действий. В этом вопросе значительную роль играет географическое положение коалиции и ее отдельных составных частей, а также удельный вес в коалиции этих отдельных звеньев. Частным поражением звеньев можно, при благоприятных условиях, надолго нарушить равновесие в подготовленной расстановке сил. На новое нарастание сил может потребоваться не мало времени. Вообще дей-

ствия первого периода войны, если таковая не может кончиться быстро, должны быть направлены на то, чтобы решительными действиями первого периода выйти к концу его в таком положении, чтобы дальнейшая затяжка войны была к выгоде наступающего, а не потерпевшего неудачу. В таких условиях, в крайнем случае, нападающий может перейти и к стратегии измора.

Это не будет знаменовать собою конца войны, но это будет знаменовать собою благоприятные условия для ее продолжения.

Само собою понятно, что условия дальнейшего ведения войны могут потребовать и методов измора и методов сочетания измора и сокрушения. Приведенные выше соображения не исключают возможности применения методов измора с самого начала войны. Это будет в том случае, если коммуникация той или другой коалиции, обеспечивающая ей боеспособность, может быть нарушена, чем заранее создастся благоприятная обстановка для дальнейших действий и т. п.

Измор предполагает экономическую блокаду, борьбу отдельными стратегическими операциями и т. д., но измор может выражаться и в социальном изморе. Империалистские государства, вооружающие многомиллионные массы рабочих и крестьян, при затяжке войны и при большом напряжении, идут по пути обострения классовых противоречий, и этот момент является одним из основных факторов измора, которым может воздействовать на империалистские государства, например, наш Советский Союз.

Итак, противопоставление стратегии сокрушения стратегии измора — неправильно, ибо оно не охватывает собой всей сущности и характера как империалистской войны, так и войны империалистов против нашего Советского Союза.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЙН.

Чрезвычайно важным вопросом для нас является правильное определение форм и размеров предстоящих нам войн. Нет никакого сомнения в том, что нам придется быть зрителями грандиозных империалистских столкновений. Нет никакого сомнения также и в том, что нам придется потягаться вооруженными силами с империалистским окружением. Какие же формы, какие размеры примут эти войны?

Стабилизация капитализма не означает его прочной консолидации. Как бы ни группировались империалистские лагери, они, после той школы, которую прошел рабочий класс во время прошлой империалистской войны, постоянно будут встречаться с фактом острого противоречия интересов эксплоататоров и эксплоатируемых. Если общая политика и ресурсы капиталистического государства и сумеют поднять многомиллионные массы на войну и сумеют эту войну вести сплоченными и дисциплинированными армиями, то невозможно ожидать, чтобы такие войны прошли бесследно после тех уроков, которые рабочий класс пережил в 1914—1918 гг. Крах наступит рано или поздно и неизбежно. Однако, вместе с тем, надо признать, что войны эти могут вспыхнуть в грандиозных размерах и даже в размерах, превосходящих прошлую империалистскую войну. Разумеется, и длительность и уничтожительная способность этих войн может быть больше, чем прежде. Техника достигнет еще больших успехов. Воздушно-химическая война, быть может, создаст вовсе новые формы.

Как же должны мыслить мы наши войны против окружающих нас империалистов и их ставленников? Несомненно, что против нас будут двинуты такие же массовые армии, какие будут применяться империалистами и в борьбе между собою. Формы, размеры и техника этих войн вряд ли будут отличаться особенно от войн вообще империалистских. Однако, если мы коснемся социальных элементов подобной войны, то разница будет существенная. Если уже выше приходилось сомневаться в том, насколько будут устойчивы империалистские армии, в силу неминуемо обостряющейся во время войны классовой борьбы, то само собою разумеется, что необходимо и неизбежно этот самый процесс пойдет гораздо скорее в случае борьбы империалистов с Советским Союзом. Интернационализм рабочего класса, его боевое воспитание, рост сознательности, рост влияния Коммунистического Интернационала, конечно, поставит нас перед фактом гораздо более ускоренного роста классовой борьбы в империалистском лагере. Это не означает, что нам не нужно рассчитывать на большие войны. Наоборот, мы должны готовиться к этим войнам, должны прямо и смело учитывать грандиозность их масштаба. Однако, процесс разложения капиталистических армий и процесс общего нарастания классовой борьбы, в случае войны с нами, неминуемо

в капиталистических государствах пойдет ускоренным темпом. Но этот ускоренный темп будет тем живее разрастаться, чем успешнее будет действовать наша Красная Армия. И наоборот, быстрый разгром наших сил мог бы и не позволить обостриться классовым противоречиям в империалистском лагере. Мы должны быть готовы к грандиозной и длительной войне, если хотим достигнуть победы.

Мы привыкли в течение гражданской войны к мысли о том, что мы нищи, бедны, не вооружены, и что преимущественно мы деремся одним только нашим революционным духом. Если это отчасти и было верно во время гражданской войны, то картина принимает совершенно другой вид в настоящее время. Наша промышленность достигает довоенного уровня, а мы знаем, что промышленность наша, после ее мобилизации, в 1916 г. в значительной мере удовлетворяла потребности царской армии. Уже одно это говорит о том, что мы дорастаем до уровня способности вести крупную войну массовых армий. К этим формам войны мы должны готовиться и на них воспитываться. Всякое пренебрежение техникой, промышленностью неминуемо грозит нам быстрым истощением и, быть может, гибелью. Конечно, мы должны рассчитывать на международную солидарность рабочего класса, должны учитывать крестьянский вопрос, разрешающийся в нашу пользу. Однако, надо помнить и то, что без победы Красной Армии на выигрыш войны не приходится рассчитывать. Лишь при условии способности нашей побеждать, мы можем рассчитывать на то, что наши действия против капиталистических врагов будут действиями по внешним операционным линиям, но не в том смысле, как это понимается буржуазными стратегами, а в том смысле, что наш организованный вооруженный напор будет поддержан с неприятельской стороны революционным напором восстающих рабочих и крестьян.

Приложение первое.

МАРКС И ЭНГЕЛЬС О ВОЙНЕ И ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ.

(Избранные отрывки.)

ПРЕДИСЛОВИЕ.

При выборе отрывков Маркса и Энгельса мы стремились дать только то, что имеет теоретический, методологический интерес. Поэтому многочисленные статьи и письма Энгельса, посвященные описанию тех или иных кампаний и операций, не включены нами в сборник. Не включены также и его статьи „Армия", „Флот" и „Артиллерия", написанные для американской энциклопедии „New Amerikan Cyclopaedia (edit. by G. Ripley and A. Dana. New York, 1860 — 62), в которых он излагал фактическую историю этих институтов.

Все наиболее существенные высказывания Энгельса о войне, за исключением статей в американской энциклопедии, собраны для русского читателя в книге „Статьи и письма по военным вопросам", изданной под редакцией т. Н. Н. Попова в 1924 г. (изд. „Красная Новь"). Вместе с „Записками о войне", посвященными военным событиям 1870 — 71 г. и вышедшими на русском языке в 1924 г. (в изд. Высшего Военного Редакционного Совета с предисловием т. Л. Д. Троцкого), „Статьи и письма" рисуют довольно полный облик Энгельса, как военного писателя. К этим книгам мы и отсылаем интересующихся специальными военными работами Энгельса, ограничиваясь здесь лишь наиболее существенным из того, что может иллюстрировать *применение к военному делу метода исторического материализма.*

Весь даваемый нами ниже материал был уже напечатан на русском языке раньше, за исключением отрывка о будущей мировой войне, взятого из предисловия Энгельса к брошюре Боркгейма „На память немецким убийцам - патриотам 1806 — 7 гг." (Zur Erinnerung für die deutschen Mordspatrioten

1806—7"), напечатанной в „Volkstaat" вскоре после франко-прусской войны и вышедшей затем отдельным изданием. Русскому читателю известна только часть заключительного абзаца этого предисловия по статье Ленина „Пророческие слова" (Собр. соч., т. XV, стр. 359 — 364, изд. 1-е).

Замечания Маркса о военном деле крайне скудны. Мы выбрали только два из них, имеющих принципиальное значение. Оба они были напечатаны на русском языке раньше.

Примечания наши к тексту, имеющие целью пояснить читателю кое-какие факты и дать сведения об именах, вынесены нами в конец.

С. В.

РАЗВИТИЕ ВОЕННОГО ИСКУССТВА В ЭПОХУ КАПИТАЛИЗМА.[1]

Ничто не зависит в такой степени от экономических условий, как армия и флот. Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия зависят прежде всего от достигнутой в данный момент ступени производства и от путей сообщения. Не „свободное творчество разума" гениальных полководцев действовало здесь революционизирующим образом, а изобретение лучшего оружия и изменение живого солдатского материала; влияние гениальных полководцев в лучшем случае ограничивается тем, что они приспособляют характер борьбы к новому оружию и новым борцам.

В начале XIV в. среди западно-европейских народов входит в употребление порох, заимствованный ими у арабов. Как известно всякому школьнику, он произвел полный переворот в способе ведения войн. Но введение пороха и огнестрельного оружия было делом промышленного, т-е. экономического, прогресса. Промышленность остается промышленностью, занята ли она производством полезных предметов или же таких, которые служат для целей разрушения. Введение огнестрельного оружия повлияло революционизирующим образом не только на самое ведение войны, но и на политические отношения господствующих и угнетенных классов. Чтобы добыть огнестрельное оружие, нужны были промышленность и деньги, а тем и другим владели горожане. Огнестрельное оружие было поэтому с самого

[1] Эта цифра и последующие относятся к примечаниям, помещенным в конце первого приложения.

начала оружием городов и возвышающейся манархии, которая в своей борьбе против феодального дворянства опиралась на города. Неприступные до тех пор каменные стены рыцарских замков не устояли перед пушками горожан; пули бюргерских ружей пробили рыцарские панцыри. Вместе с закованной в броню дворянской кавалерией рухнуло также господство дворянства; с развитием буржуазии пехота и артиллерия все больше становятся главными факторами военных успехов; под давлением артиллерии военное ремесло вынуждено присоединить к себе чисто промышленную отрасль — инженерное дело.

Усовершенствование огнестрельного оружия подвигалось очень медленно. Пушки долгое время были неповоротливы, а ружья, несмотря на многие частичные улучшения, грубы. Прошло более 300 лет, пока явилось ружье, годное для вооружения всей пехоты. Только в начале XVIII столетия кремневое ружье с насаженным на него штыком окончательно вытеснило пику из вооружения пехоты. Тогдашняя пехота состояла из хорошо проделывавших военные упражнения, но совершено не надежных и самых испорченных элементов общества, лишь палкой сдерживаемых в порядке; часто она состояла из наемных княжеских солдат и вражеских военнопленных, насильно зачисленных в армию; единственной формой борьбы, в которой эти солдаты могли применять новое оружие, была линейная тактика, достигшая своего высшего совершенства при Фридрихе II. Вся пехота данной армии выстраивалась в три линии, в виде очень длинного и пустого внутри четырехугольника, и двигалась в боевом порядке как одно целое; только в крайнем случае одному из двух флангов позволялось выдвинуться несколько вперед или отступить назад. Эта беспомощная масса могла двигаться в порядке лишь на совершенно ровной местности, да и то крайне медленно (75 шагов в минуту); изменение боевого порядка во время сражения было невозможно, и, раз пехота вступила в бой, победа и поражение решались в короткое время одним ударом.

Против этих беспомощных линий выступили в американской войне за независимость банды инсургентов, которые не умели, правда, проделывать упражнений, но зато тем лучше стреляли из своих ружей; сражаясь за свои кровные интересы, они не дезертировали, как навербованные наемные войска. Они не доставили англичанам удовольствия — выступать про-

тив них в линейном боевом порядка на ровном месте, а нападали рассыпанными, подвижными отрядами стрелков в лесах, служивших им прикрытием. Линия была здесь бессильна и потерпела поражение от невидимых и недоступных противников. Таким образом, был вновь изобретен рассыпной строй,— новый способ борьбы, как следствие изменившегося солдатского материала.

То, что было начато американской революцией, завершила французская, между прочим, и в военной также области. Против хорошо обученных наемных войск коалиции она также могла выставить только плохо обученные, но многочисленные массы, ополчение всего народа. Но с этими массами приходилось защищать Париж, следовательно, прикрывать определенную местность, а этого нельзя было достичь без победы в открытом массовом бою. Простой перестрелки было уже недостаточно: нужно было найти подходящую форму для применения масс, и эта форма была найдена в *колонне*. Благодаря построению в форме колонн, могли двигаться в достаточном порядке и менее обученные войска, притом даже более ускоренным маршем (сто и более шагов в минуту); колонное построение позволяло прорывать неповоротливые формы старого линейного строя, сражаться в любой местности, следовательно, и в самой неблагоприятной для линейного строя, группировать войска любым, в каком-нибудь отношении удобным образом и, в связи с перестрелкой рассыпанных стрелков, сдерживать, отвлекать, утомлять неприятельские линии, пока не наступит момент, когда можно их будет прорвать в решающем пункте позиции при помощи сохраняемых в резерве масс. Этот новый боевой метод, основанный на соединении стрелковых команд с колоннами пехоты и на разделении армии на самостоятельные, составленные из всех родов оружия дивизии или армейские корпуса, был вполне разработан Наполеоном как со стороны тактики, так и стратегии. Из сказанного выше видно, что он стал необходимым, прежде всего, вследствие изменения солдатского материала, которым располагала французская революция. Но для успешного применения его требовались еще два очень важных технических условия: во-первых, более легкие лафеты полевых орудий, устроенные Грибовалем, благодаря чему только и стала возможной требуемая теперь от них большая скорость движения; во-вторых, введенная во Франции

в 1777 г. и заимствованная у охотничьего ружья изогнутость ружейного приклада, представлявшего раньше прямое продолжение ствола, что сделало возможным целить в определенного человека, не делая непременно промахов. Без этого последнего усовершенствования нельзя было бы при помощи старого ружья применить стрельбу в рассыпном строю.

Революционная система вооружения всего народа была скоро ограничена и сведена к принудительному набору (с правом заместительства за деньги для людей состоятельных), и в этой форме воинская повинность была принята большинством крупных государств континента. Только Пруссия пыталась при помощи своей системы ландвера привлечь на службу военную силу нации в более значительных размерах. Она же была первым государством, которое после непродолжительного опыта с заряжающимся с дула нарезным ружьем, усовершенствованным между 1830 и 1860 гг., вооружило всю свою пехоту новейшим оружием: нарезным ружьем, заряжающимся с казенной части. Обоим этим нововведениям Пруссия обязана была своими успехами в 1866 г.

Во франко-прусской войне впервые выступили друг против друга две армии, вооруженные обе нарезными ружьями, заряжающимися с казенной части, и притом обе, по существу, с тем самым боевым построением, какое было в ходу в период старого гладкоствольного кремневого ружья; разница была лишь та, что пруссаки сделали попытку в „ротной“ колонне найти боевую форму, более подходящую к новому вооружению. Но когда 18 августа при Сен-Прива прусская гвардия попробовала серьезно применить эту ротную колонну, то пять полков, принимавших наибольшее участие в этом сражении, потеряли в каких-нибудь два часа более 1/3 своего состава (176 офицеров и 5114 рядовых), и с тех пор применение в бою ротной колонны было бесповоротно осуждено, так же как и применение батальонных колонн и линейного строя. Всякая попытка подставлять впредь под неприятельский ружейный огонь какие-либо сомкнутые отряды была оставлена, и затем бой со стороны немцев велся только теми густыми тучами стрелков, на которые уже и прежде колонна обыкновенно сама рассыпалась под градом неприятельских пуль, несмотря на то, что высший командный состав боролся с этим, как с нарушением порядка. Точно также в сфере действия неприятельского ружейного огня

единственной формой передвижения сделался беглый шаг. Солдат опять-таки оказался толковее офицера; именно он инстинктивно нашел единственную боевую форму, оправдавшую себя до сих пор под огнем ружья, заряженного с казны, и он с успехом отстоял ее вопреки противодействию начальства.

Франко-прусская война отмечает собою поворотный пункт, имеющий гораздо большее значение, чем все предыдущие перемены. Во-первых, оружие так усовершенствовано теперь, что какой-либо новый прогресс в этой области, который мог бы иметь сколько-нибудь революционизирующее действие, невозможен больше. Когда есть пушки, из которых можно попадать в батальон, насколько глаз различает его, когда есть ружья, дающие тот же результат относительно отдельного человека, при чем на заряжение требуется меньше времени, чем на прицеливание, то все дальнейшие усовершенствования для полевой войны более или менее безразличны. Таким образом, в этом направлении эра развития в существенных чертах закончена.[2] Во-вторых, эта война заставила все континентальные великие державы ввести у себя усиленную прусскую систему ландвера и тем самым наложить на себя военное бремя, под тяжестью которого они через немногие годы должны рухнуть. Армия стала главной целью государства, она стала самоцелью; народы существуют только для того, чтобы поставлять и кормить солдат. Милитаризм господствует над Европой и съедает ее. Но этот милитаризм таит в себе зародыш собственной гибели. Взаимное соперничество отдельных государств принуждает их, с одной стороны, с каждым годом тратиться все больше на армию, флот, пушки и проч., следовательно, — все более ускорять финансовую катастрофу; с другой стороны, оно заставляет их все серьезнее применять всеобщую воинскую повинность и тем самым освоить, в конце концов, весь народ с употреблением оружия, так что последний приобретает возможность в известный момент осуществить свою волю вопреки командующему военному начальству. И этот момент наступит, как только народная масса — деревенские и городские рабочие и крестьяне — будет иметь определенную волю. На этой ступени развития войска государей превратятся сразу в войска народа; машина откажется служить, и милитаризм погибнет под действием собственного диалектического разви-

тия. То, что оказалось не по силам буржуазной демократии 1848 г., именно потому, что она была *буржуазной*, а не пролетарской, — мы разумеем — дать трудящимся массам определенную волю, содержание которой соответствовало бы их классовому положению, — это непременно совершит социализм. А это означает уничтожение милитаризма и вместе с ним всех постоянных армий *изнутри*.

Такова одна мораль нашей истории современной пехоты. Другая мораль, снова возвращающая нас к г. Дюрингу, состоит в том, что вся организация и боевой метод армий, а вместе с тем успех и поражение последних оказываются зависящими от материальных, т.-е. экономических условий: от человеческого материала и от оружия, следовательно, от качества и количества населения и от техники. Только охотничий народ, как американцы, мог вновь изобрести тиральерскую систему; но охотниками они были по чисто экономическим причинам, точно так, как теперь те же янки старых Штатов превратились по чисто экономическим причинам в крестьян, промышленников, моряков и купцов, которые не стреляют больше в девственных лесах, но зато тем лучше подвизаются на поле спекуляции, где они тоже далеко подвинули искусство пользоваться массами. Только такая революция, как французская, которая экономически эмансипировала буржуа и особенно крестьянина, могла изобрести массовые армии и в то же время найти для них свободные формы движения; об эти свободные формы разбились старые, неповоротливые линии, — военные отражения абсолютизма, который они защищали. А каким образом успехи техники, едва они становились применимыми и фактически применялись к военным целям, тотчас же почти насильственно, часто против воли войскового командования, вызывали перемены и даже перевороты в боевых методах, — это мы уже проследили шаг за шагом. В какой степени ведение войны зависит, сверх того, от производительных сил и средств сообщения собственного глубокого тыла, как и театра военных действий, на этот счет может просветить в наши дни г. Дюринга всякий честолюбивый унтер-офицер. Одним словом, везде и всегда экономические условия и ресурсы помогали „силе“ одержать победу, без которой она перестает быть силой, и кто захотел бы реформировать военное дело, руководствуясь противоположной точкой зрения, соответствующей

принципам г. Дюринга, тот не мог бы пожать ничего, кроме тумаков. *

Если мы от суши перейдем к морю, то за одни последние 20 лет можно констатировать здесь еще гораздо более решительный переворот. Боевым судном в Крымскую войну был деревянный двух- и трехпалубный корабль, имевший от 60 до 100 орудий; он двигался, главным образом, парусами и имел слабую паровую машину только для вспомогательной работы. На нем помещались преимущественно 32-фунтовые орудия, весом в 50 центнеров, и лишь немногие 68-фунтовые, весом в 95 центнеров. К концу войны появились плавучие батареи, одетые в железную броню, неповоротливые, почти неподвижные, но при тогдашней артиллерии неуязвимые чудовища. Вскоре броня была перенесена и на боевые суда; вначале она была тонка: 4 дюйма толщины считались очень тяжелой броней. Но прогресс артиллерии скоро справился с броней; для брони любой толщины, которая последовательно применялась, находили новое, более тяжелое орудие, которое пробивало ее. Таким образом, мы уже дошли, с одной стороны, до 10-, 14- и 24-дюймовой брони (Италия намерена построить судно с броней в 3 фута толщины), а с другой стороны — до нарезных орудий в 25, 35, 80 и даже 100 тонн (тонна = 20 центнерам) веса, выбрасывающих на неслыханные прежде дистанции снаряды в 300, 400, 1700 и до 2000 фунтов. Нынешнее боевое судно представляет гигантский броненосный винтовой пароход в 8 — 9 тыс. тонн водоизмещения и 6000 — 8000 индикаторных сил, с вращающимися башнями, с четырьмя, максимум шестью, тяжелыми орудиями и с выступающим в его носовой части, ниже ватерлинии, тараном для пробивания неприятельских судов. Это судно вообще представляет колоссальную машину, где сила пара служит не только для того, чтобы сообщать быстрое движение броненосцу, но и чтобы управлять рулем, поднимать и опускать якорь, вращать башни, направлять и заряжать орудия, выкачивать воду, поднимать и спускать лодки, которые отчасти также приводятся в движение паром, и т. д. Соперничество между броневой защитой и силой орудий еще

* В прусском генеральном штабе это знают как нельзя лучше. „*Основой* военного дела является прежде всего *экономический* строй жизни народов“,— замечает в одном научном докладе капитан генерального штаба Макс Иенс („Köln. Zeitung“. 20 апреля 1876 г.).

так далеко от завершения, что в настоящее время строящееся военное судно сплошь и рядом не удовлетворяет больше требованиям, становится уже устарелым еще раньше, чем его успели спустить на воду. Современный броненосец есть не только продукт крупной индустрии, но в то же время и образец ее, плавучая фабрика — преимущественно, правда, для расточения денег. Страна с наиболее развитой крупной промышленностью пользуется почти монополией по постройке этих судов: все турецкие, почти все русские и большинство германских броненосцев построены в Англии; сколько-нибудь пригодные броневые плиты изготовляются исключительно в Шеффильде; из трех железнодорожных заводов Европы, которые одни в состоянии изготовлять самые тяжелые орудия, два (в Вульвиче и Эльсвике) находятся в Англии, а третий (Круппа) — в Германии. Этот пример показывает наиболее наглядно, что „непосредственная политическая сила", которая, по г. Дюрингу, является „решающей причиной экономического положения", напротив того, совершенно подчинена экономическому положению; что не только постройка, но и управление орудием насилия в море, боевым судном, само сделалось отраслью современной крупной промышленности. От того обстоятельства, что дело приняло такой характер, никому не пришлось так солоно, как именно „силе", государству, которому в настоящее время одно судно стоит столько же, сколько прежде стоил целый небольшой флот; которому приходится мириться с тем, что эти дорогие суда, еще раньше чем они спущены на воду, становятся уже устарелыми и, следовательно, обесцениваются; которое наверно не меньше г. Дюринга испытывает досаду по поводу того, что человек „экономического положения", инженер, имеет ныне большее значение на борту корабля, чем человек „непосредственной силы" — капитан. Напротив, мы, с своей стороны, не имеем никакого основания досадовать, когда видим, что, благодаря состязанию между броней и орудием, боевое судно доведено до такой степени искусственности, которая делает его столь же недоступным по цене, сколько пригодным для войны, и что, благодаря этому же состязанию на поприще морской войны, проявляются те внутренние законы диалектического движения, согласно которым милитаризм, как и всякое другое историческое явление, гибнет от последствий своего собственного развития.

Таким образом, мы и здесь убеждаемся с очевидностью в неверности утверждения, будто „первичное надо искать в непосредственной политической силе, а не в косвенной экономической мощи“. Как раз напротив. В самом деле, что оказалось „первичным“ в самом насилии? Экономическая мощь, возможность распоряжения силами современной промышленности. Политическая сила на море, покоящаяся на современных военных судах, оказывается вовсе не „непосредственной“, а прямо зависящей от экономической мощи, от высокого развития металлургии, от наличности искусных техников и богатых угольных копей.

Однако, к чему это все? Пусть в ближайшей морской войне передадут высшее командование г. Дюрингу, и он все порабощенные „экономическим положением“ броненосные флоты уничтожит без торпед и прочих кунштюков единственно посредством своего „непосредственного насилия“.

ВОЗМОЖНОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЙНЫ СВЯЩЕННОГО СОЮЗА ПРОТИВ ФРАНЦИИ В 1852 г.[3]

Я считаю, что всякая победоносная революция в Париже в 1852 г. немедленно поведет к войне Священного союза против Франции. Война эта будет сильно отличаться от войны 1792—1794 гг., и ход последней ни в коем случае не может служить основанием для параллелей насчет первой.

I.

Чудо, совершенное Конвентом и выразившееся в военном преодолении коалиции, серьезно уменьшается в своих размерах при внимательном рассмотрении. Можно понять и оправдать презрение, которое питал Наполеон к четырнадцати армиям Конвента. Наполеон имел обыкновение говорить, что недотепы коалиции могли бы действовать гораздо лучше, и на острове св. Елены отзывался о Карно,[4] как о человеке очень посредственном.

Девяносто тысяч пруссаков и австрийцев вторглись во Францию в августе 1792 г. Прусский король был намерен итти прямо на Париж, но герцог Брауншвейгский и австрийские генералы воспротивились этому. Единство командования

отсутствовало. Быстрые движения следовали за беспричинным стоянием на месте. Планы менялись. Когда союзники прошли, наконец, через Аргонские проходы, Дюмурье[5] преградил им дорогу у Вальми и Сен-Менегульда. Союзники могли обойти его и оставить в стороне. Он должен был следовать за ними к Парижу и при известных мерах предосторожности не мог быть опасным. Но союзники имели возможность также итти прямо на врага и разбить его, ибо — по признанию самих французов — на стороне союзников было численное и качественное превосходство. Но вместо этого они устроили смехотворную канонаду у Вальми, где во время боя, и даже в момент атаки колонн, генералы не один раз проявляли недопустимую трусость. При обеих атаках недоставало массы, силы и энергии. В этом была вина не солдат, а командного состава. Скорее это были демонстрации, чем настоящие атаки. Решительное наступление по всей линии опрокинуло бы французских волонтеров и деморализованные полки. После боя союзники стояли на месте, пока солдаты не начали болеть. При Жемаппе Дюмурье победил тем, что он сначала полуинстинктивно австрийской системе кордонов и бесконечно длинных фронтов (от Остенде до Мааса) противопоставлял массовую концентрацию своих сил. Но в следующую весну, желая завоевать Голландию, он впал в аналогичную ошибку, в то время как австрийцы наступали концентрированно. В результате — битва при Неервиндене и потеря Бельгии. Как при Неервиндене, так и в более мелких стычках этой кампании обнаружилось совершенно ясно, что французские волонтеры — прославленные герои, когда они не сражались на глазах у Дюмурье, — были нисколько не лучше южно-немецкого народного ополчения 1849 г. Затем Дюмурье изменил, восстала Вандея, армия была рассеяна и деморализована, и если бы сто тысяч австрийцев и англичан решительно двинулись на Париж, революция была бы раздавлена. Вместо этого почтенные господа стояли перед крепостями, лезли из кожи вон, чтобы добиться самых ничтожных успехов при огромной трате стратегической педантичности. И так они потеряли шесть месяцев. Французская армия после измены Лафайета[6] насчитывала 120 тысяч. 1792 год дал 60 тысяч волонтеров. К марту 1793 г. имели 300 тысяч. В августе, когда был объявлен массовый набор, французская армия насчитывала 300 — 350 тысяч человек.

Массовый набор дал 700 тысяч. Принимая во внимание все потери, к весенней кампании 1794 г. французы имели на фронте около 750 тысяч, т.-е. значительно больше, чем коалиция против Франции.

С апреля по октябрь 1793 года французы зашли в тупик во всех направлениях. Но удары на них не имели решающих результатов, благодаря дрянной системе коалиции. После октября боевое счастье колебалось, зимой кампания остановилась. Весной 1794 г. масса мобилизованных приняла участие в боях. В результате — победы на всех фронтах в мае, пока, наконец, битва при Флери не решила судьбы революции.

Конвент и министерство 10 августа имели, таким образом, достаточное время для вооружения. С 10 августа по март 1793 г. не делалось ничего, волонтерам едва платили. В марте 1793 года взяли под ружье 300 тысяч человек; с марта по следующий март в течение целого года Конвент имел время и свободу вооружаться, при чем 10 месяцев относятся ко времени, когда после падения жирондистов революционная партия имела руки совершенно развязанными. А в стране, насчитывающей 25 миллионов жителей и располагающей нормальным контингентом граждан, способных носить оружие, собрать миллион солдат, из них 750 тысяч на фронте, имея в своем распоряжении год, — для этого не нужно быть чародеем.

За исключением Вандеи роль остальных внутренних восстаний нужно приравнять к нулю. Вместе с Тулоном и Лионом они были подавлены в 6 недель. Лион был взят рекрутами, а Тулон пал под сокрушительным ударом Наполеона, благодаря энергии нападающих и недостатку защитников.

Среди 750 тысяч человек, которых в 1794 году французы выдвинули против коалиции, по крайней мере 100 тысяч были солдатами еще при монархии, а 150 тысяч других состояли частью из волонтеров, частью из 300-тысячного набора и в течение 18 — 12 месяцев успели приобрести некоторую опытность в военном деле. Из остальных 500 тысяч по крайней мере половина принимала участие в столкновениях сентября, октября и ноября, и самые молодые находились под ружьем около 3 месяцев, прежде чем они пошли против врага. Наполеон в испанском походе считал 3 — 4 недели достаточным сроком предварительного военного обучения. Штабные и боевые офицеры в среднем у союзников стояли на более высоком

уровне. Но в общем французская армия 1794 года была благодаря времени, оставленному ей на организацию, благодаря вечно безрезультатной системе действий у союзников, которая опытную и в особенности наступающую армию деморализует, а армию противника, если она молодая и ведет оборонительную борьбу, дисциплинирует и приучает к войне, — французская армия 1794 года была отнюдь не грубая, шумная, воодушевленная толпа с лозунгом умереть за республику, но самая настоящая и вполне приличная армия, равная своему противнику. Французские же генералы 1794 года сильно подтянулись, хотя делали достаточно ошибок, но гильотина обеспечивала единство командования и согласованность операций там, где представители Конвента, что бывало в виде исключений, на собственный риск, не делали глупостей. Много их осталось на совести у блаженного Сен-Жюста. [7]

Несколько замечаний о массовой тактике:

1. Первая грубая идея ее родилась из счастливого маневра при Жемаппе, скорее инстинктивного, чем планомерно рассчитанного. Она родилась из тяжелого положения французской армии, нуждавшейся в численном превосходстве, чтобы иметь доверие к своим силам. Масса должна была заменить дисциплину.

2. Эта массовая тактика осталась в зачаточном состоянии, и, например, в 1794 году она не применялась французами при Туркуэне и Флери (французы вместе с самим Карно делали грубейшие ошибки), пока Наполеон во время шестинедельного пьемонтского похода в 1796 году уничтожением превосходных сил неприятеля по частям не показал людям, к чему они приходят, сами того не сознавая.

3. Что касается до Карно, то этот молодец представляется мне все более подозрительным. Определенно судить я, конечно, не могу, у меня нет его депеш к генералам. Но из того, что есть, вытекает, что главная заслуга его заключается в безграничном невежестве и неспособности предшественников Паша и Бушотта [8] и в полном незнакомстве всего остального комитета общественного спасения с военными вопросами. В царстве слепых на троне восседает кривой. Карно — старый инженерный офицер — уже в качестве комиссара при северной армии знал, какая армия и крепость нуждались в каком материале и чего французам вообще недоставало. В то же время

он имел известное представление о том, каким образом можно привести в движение военные ресурсы такого государства, как Франция. И так как при наличности необученных масс рекрут известное расточение военных ресурсов может произойти, лишь бы только была достигнута главная цель — быстрая мобилизация этих ресурсов, то Карно и не нуждается в том, чтобы быть большим гением, если нужно понять достигнутые им результаты. Что меня заставляет сомневаться в приписываемом ему изобретении массовой тактики, так это то, что его широкие планы 1793 — 1794 г. опирались как раз на противоположную систему войны: он разделял французские армии, вместо того чтобы их концентрировать, и оперировал против флангов неприятеля таким образом, что тот сам собой сосредоточивался. А затем его позднейшая карьера — добродетельное рыцарство при консулате, храбрая защита Антверпена, — защита крепости в среднем лучший пост для посредственного, методичного, но наделенного известной настойчивостью офицера, чтобы отличиться, — и притом осада Антверпена продолжалась всего около 3 месяцев; наконец, его попытка навязать Наполеону в 1814 году — против сосредоточенных в количестве 1 200 000 войск коалиции и при совершенно изменившихся обстоятельствах — средства борьбы 1793 года и его филистерство, — вообще все это не говорит в пользу гения Карно. Если он и был в чем-нибудь гениален, так только в том, что обыкновенный человек навряд ли сумел бы проскользнуть через термидор, фрюктидор, брюмер.[9]

Подведем итог. Конвент обязан своим спасением единственно и исключительно неорганизованности коалиции, благодаря которой он получил годичную передышку. Он спасся таким же точно образом, как Старый Фриц[10] в Семилетней войне или как Веллингтон в Испании в 1809 году, когда французы превосходили его в количественном и в качественном отношении по крайней мере втрое и только тем парализовали свою колоссальную силу, что после отъезда Наполеона маршалы всеми возможными способами подставляли друг другу ножку.

II.

Нынешняя коалиция, конечно, далеко ушла от глупостей 1793 года. Она прекрасно организована. Так было уже в 1813 году. Русская кампания 1812 года сделала Россию

основной силой всего Священного союза в деле континентальной войны. Ее войска составили главную массу, вокруг которой группировались Пруссия, Австрия и остальные, русская армия представляла остов коалиционной армии до самого Парижа. Александр I фактически являлся главнокомандующим всей армией (речь идет о русском генеральном штабе, стоявшем позади Александра). Но после 1848 года Священный союз конструировался на еще более солидном основании. Развитие контр-революции от 1849 до 1851 года поставило континент, за исключением Франции, по отношению к России в такое положение чистого рабства, в котором в свое время находились Италия и Рейнский союз по отношению к Наполеону. Николай I, вернее Паскевич [11] — неизбежный диктатор над Священным союзом в случае войны, как Нессельроде[12] является диктатором во время мира.

Далее, что касается внешнего военного искусства, то оно всецело сложилось при Наполеоне. До наступления известных обстоятельств, о которых речь ниже, не остается ничего другого, как подражать Наполеону, поскольку позволяют условия.

Это современное военное искусство широко известно. В Пруссии оно вбивается в голову каждого лейтенанта еще перед тем, как он держит экзамен на портупей-юнкера, поскольку, конечно, этот лейтенант в состоянии что-либо усвоить.

Что касается до австрийцев, то в течение венгерской кампании они имели случай узнать и устранить своих плохих специфически австрийских генералов — Виндишгреца, Вельдена, Геца [13] и других старых баб. Напротив, так как мы не пишем больше в „Новой Рейнской Газете“, то мы можем быть свободны от иллюзий: обе кампании Радецкого [14] в Италии проведены мастерски. Кто ему помогал, — безразлично, но старик обнаружил достаточно здравого умения усвоивать хорошие мысли. Оборонительная позиция 1848 года между четырьмя крепостями, Пескиерой, Мантуей, Леньяго и Вероной (все четыре стороны этого четырехугольника достаточно хорошо прикрыты), и защита Радецким этой позиции, пока он не получил подкреплений посреди восставшей страны, были бы образчиком мастерства, если бы австрийцы не получали могущественной поддержки от жалкого руководства, бессмыслицы и вечных колебаний итальянского командования, интриг Карла-Альберта и содействия аристократов и попов во враждебном лагере. Нельзя

притом забывать, что Радецкий был в плодороднейшей стране света и мог не заботиться о снабжении своей армии. Напротив, кампания 1849 года для австрийцев неслыханна. Пьемонтцы, вместо того чтобы сосредоточенными массами загородить дорогу на Турин у Наварры и Мортары (линия в 3 мили длины), что было самое лучшее, или оттуда, свернувшись в две или три колонны, итти на Милан, растянулись от Сесты до Пиаченцы с 70 тысячами на протяжении 20 миль, так что на каждую милю приходилось 3500 человек, и нужно было пройти от трех до четырех больших дневных маршей, чтобы перейти с одного крыла на другое. Жалкая концентрическая операция против Милана, для которой они были вообще слабы! Радецкий, видя, что итальянцы применяют старую австрийскую систему 1792 г., поступил с ними точь-в-точь так, как делал Наполеон. Пьемонтская линия рекой По была разделена на две части — грубейшая ошибка. Радецкий прорвал эту линию около По, отделил таким образом две южных от трех северных дивизий, бросив массу своих войск в 60 тысяч между ними, обрушился затем всеми силами на северные дивизии (35 тысяч), отбросил их в Альпы и в результате отрезал обе части пьемонтской армии друг от друга и от Турина. Этот маневр, кончивший кампанию в три дня и почти буквально скопированный с наполеоновского маневра 1809 года у Абенсберга и Зекмюля, гениальнейшего из всех наполеоновских маневров, показывает во всяком случае, что австрийцы далеки от того, чтобы по своему старому обычаю парадировать „медленно вперед". Здесь как раз все решила быстрота. Измена аристократов облегчила дело, благодаря точным сведениям, которые они давали о планах и расположении итальянцев; также поведение савойской бригады, которая не сражалась, а грабила. Но с военной точки зрения одно несчастное расположение пьемонтцев и маневр Радецкого вполне объясняют успех австрийцев. Эти два факта при всех обстоятельствах должны были дать результат.

Русские по самой природе их армии приспособлены к военной системе, которая близко подходит к современной. Их армия состоит, главным образом, из массивной полуварварской, тяжелой на подъем пехоты и многочисленной легкой, также полуварварской нерегулярной кавалерии (казаки). Русские в решительных случаях в больших сражениях никогда не применяли другой тактики, кроме массовой. Суворов понимал это еще

при штурме Измаила и Очакова. Подвижность не является характерным признаком русской армии, но отсутствие ее возмещается обилием нерегулярной кавалерии, которая окружает армию со всех сторон и маскирует ее движение. Именно эта тяжелая массивность русской армии делает ее великолепно приспособленной к тому, чтобы быть ядром и спинным хребтом коалиционной армии, которая всегда отличается большей неповоротливостью, чем национальные армии. Эту роль русские великолепно выполняли в 1813—1814 гг., — в кампании указанных лет не было ни одного плана сражения, в котором на долю глубоких и густых русских колонн не отводилось решающего значения.

Французов с 1812 года уже нельзя считать преимущественно перед другими носителями наполеоновской традиции. Эта традиция более или менее усвоена всеми европейскими армиями; в каждой она произвела по большей части уже в последние годы империи целую революцию; для каждой наполеоновская тактика, поскольку ее удалось применить к национальному характеру армий, стала составным элементом стратегии и тактики вообще. Нивелирующее влияние буржуазной эпохи здесь чувствуется сильнее всего. Старые национальные особенности армий — накануне своего исчезновения: французская, австрийская, прусская армии, отчасти и английская для наполеоновского маневра представляют одинаково более или менее приспособленную машину. Это не мешает тому, что в сражениях они могут обнаруживать совершенно различные качества. Но из всех больших европейских армий только полуварварская русская способна к самостоятельной тактике и стратегии, так как она недостаточно созрела для современной, вполне развитой военной системы.

Что касается французов, то они прервали нить наполеоновской традиции большой войны благодаря алжирским операциям. Нужно еще доказать, уравновешивает ли эта разбойничья война свои вредные для дисциплины стороны преимуществами создания военной привычки, приучает ли она людей к боевой работе, или же только изматывает их перенапряжением сил, и не портит ли она вдобавок глаз генералам для большой войны. Во всяком случае французская кавалерия в Алжире испортилась, она потеряла силу, способность к сомкнутому удару и приучилась к рассыпным действиям, в которых

все равно она останется далеко позади венгерцев, казаков и поляков. Из генералов Удино[15] скомпрометировал себя под Римом, а Кавеньяк[16] отличился в июне кровавым усмирением парижских рабочих, но это уже не такие большие заслуги.

Шансы превосходящей стратегии и тактики, таким образом, в одинаковой степени на стороне коалиции, как и на стороне революции.

III.

Но если новая революция вызовет к господству новый класс, то не даст ли она ему в руки новые военные средства и не создаст ли новую военную тактику, перед которой наполеоновская будет такой же устарелой и бессильной, как перед наполеоновской тактика Семилетней войны? *Новая военная тактика — необходимый продукт французской революции.* Ее предпосылка — социальная и политическая *эмансипация буржуазии и мелкого крестьянства.* Буржуазия дает деньги, мелкое крестьянство поставляет солдат. Эмансипация обоих классов от феодальных и цеховых оков необходима, чтобы поставить на ноги нынешние колоссальные армии. И связанная с нынешнею ступенью общественного развития степень богатства и образования равным образом необходима, чтобы дать для современной армии необходимое количество оружия, амуниции, жизненных припасов, а также нужное число образованных офицеров, и чтобы дать солдату необходимую интеллигентность.

Я беру нынешнюю военную систему в том виде, в каком ее создал Наполеон. Две ее отличительных особенности: массовый характер наступательных средств в виде людей, лошадей и пушек и подвижность этих средств. *Подвижность — неизбежное следствие массового характера армии.* Современные войска не могут, как маленькие армии Семилетней войны, в течение месяцев маршировать на пространстве 20 миль туда и сюда. Они не могут удовлетворять всю свою потребность в жизненных средствах из магазинов. Подобно рою саранчи наводняют они тот или другой район страны, реквизируют все, что только можно в пределах досягаемости их кавалерии, и должны итти дальше, так как уже все съедено. Магазины служат для того, чтобы покрывать непредвиденные потребности, они каждый момент опустошаются и должны снова

наполняться. Они быстро следуют за армией в ее поступательном движении и едва ли способны самостоятельно ее продовольствовать в течение одного месяца.

Современная кампания, таким образом, невозможна в бедной, полуварварской, слабо населенной стране в течение продолжительного времени. Французы в такой обстановке потерпели в Испании медленное, а в России быстрое крушение. Зато Испания, благодаря французам, подверглась основательному разорению, страна была совершенно высосана, а русские свою собственную тяжеловесную военную систему не могут применять долгое время в Польше, а в России тем более, так как она совсем не имеет железных дорог. Защита Днепра и Двины совершенно разорила бы страну.

К подвижности нужно прибавить известную степень *умственного развития солдата*, который в некоторых случаях должен уметь помогать себе сам. Большие размеры области патрулирования и фуражировки, постовая служба, значительная активность, требующаяся от каждого солдата, частое повторение случаев, в которых солдат действует самостоятельно и полагается на свои собственные материальные ресурсы, наконец, большое значение огневого боя, результат которого зависит от интеллигентности, глазомера и энергии отдельного стрелка, — все это подразумевает бо́льшую степень развития унтер-офицера и солдата, чем было при старом Фрице. Варварская или полуварварская нация не может проявить таких способностей в массе так, чтобы первые, лучшие 500—600 тысяч, которые попадают в набор, были дисциплинированы, вымуштрованы и в то же время обладали глазомером для малой войны. Этот глазомер разбойника варвары могут получить только от природы, например, казаки. Но казаки так же неспособны к регулярной военной службе, как, наоборот, русские пехотинцы из крепостных крестьян неспособны к рассыпному стрелковому бою.

Эта необходимая степень умственного развития, которую современная военная система предполагает в каждом солдате, *имеется в наличности только в промышленных странах:* в Англии, где солдат, каким бы грубым крестьянином он ни был, проходит цивилизующую школу городов; во Франции, где эмансипированные мелкие крестьяне и тертый люмпен-пролетариат городов составляют армию; в Северной Германии, где феодализм, если не уничтожен, то, по крайней мере, при-

нял буржуазные формы, и где города дают значительный процент контингента армии; наконец, отчасти такая степень умственного развития существует и в австрийской армии, по крайней мере, в той части ее, которая рекрутируется в наименее феодальных областях. Всюду, за исключением Англии, мелкая крестьянская парцеллярная культура составляет базис армии, и армия тем приспособленнее к современному ведению войны, чем ближе положение мелкого крестьянина к положению свободного собственника.

Но не только подвижность каждого в отдельности солдата, но также и целых масс имеет предпосылкой высоту цивилизации буржуазной эпохи. Сонная неповоротливость дореволюционных армий находилась в тесной связи с феодальной системой. Одна только масса офицерских экипажей затрудняла всякое движение. Армии так же медленно ползли, как в общем происходило движение по тогдашним путям сообщения. Расцветшая бюрократия абсолютных монархий вносила известный порядок в управление человеческим материалом, но ее близость к финансовым сферам являлась источником огромных злоупотреблений. Если вообще бюрократия в чем-нибудь приносила армиям пользу, то она им вредила вдвойне своим духом схематизма и педантичности. Хорошим свидетелем этого является сам старый Фриц. Россия страдает до сих пор под гнетом этих зол. Русская армия, обдираемая и ограбляемяя, хронически голодает, и в походах люди падают, как мухи. Только буржуазное государство вносит известную упорядоченность в снабжение армии и вследствие этого может некоторым образом рассчитывать на ее подвижность.

Что касается до подвижности, то она во всех отношениях является свойством буржуазных армий. Но подвижность не всегда является необходимым дополнением массового характера армий: часто она заменяет его (например, Наполеон в Пьемонте в 1796 году).

Но сам по себе массовый характер — такая же необходимая особенность современных армий, как и подвижность.

Как бы различны ни были методы мобилизации — конскрипция, система прусского ландвера, швейцарская милиция, массовый набор, — опыт последних 60 лет показывает, что при буржуазном порядке и системе мелкого крестьянского хозяйства ни в одной народной войне не было при-

влечено под ружье больше 7% населения и активно использовано больше 5%.

Франция осенью 1793 года с 25 миллионами населения оказалась способной выставить 1 750 000 солдат, из которых 1 250 000 находились на фронте. Эти 1 250 000 сражались всюду — на границах, в Вандее, перед Тулоном. В Пруссии, населяемой теперь 16 миллионами, 7% и 5% составили бы 1 200 000 и 800 000. Вся прусская армия — перволинейные войска и ландвер — насчитывают всего 600 000. Этот пример показывает, что такое значит для нации 5%. Но если Франция и Пруссия в состоянии призвать 5% своего населения и даже 7% под знамена, то Австрия, в крайнем случае, в состоянии дать 5%, а Россия — только 3%. 5% для Австрии означают 1 750 000, считая размер ее населения в 35 миллионов. В 1849 г. Австрия напрягла все свои силы, и у нее было всего 500 000. Венгерцы, силы которых были удвоены кошутовскими нотами, собрали около 350 000. Я принимаю в расчет еще 50 тысяч ломбардцев, уклонившихся от набора или же сражавшихся в рядах пьемонтцев. В сумме оказывается 950 000, что не составляет даже $2^2/_3$% населения, при чем кроатская военная граница, живущая в исключительных условиях, поставила, по крайней мере, 15% своего населения. Россия имеет по минимальной оценке 72 миллиона жителей, и, таким образом, при 5% могла бы выставить 3 600 000. Но на самом деле у нее, считая регулярные и нерегулярные войска, никогда не было больше 1 500 000, из которых против неприятеля даже в собственной стране можно было вести 1 000 000. Это значит, что вся ее сила определяется в $2^1/_2$%, а активная сила — в $1^7/_8$% или 1,39%. Редкое население на огромном пространстве, недостаток сообщений и ничтожное национальное производство объясняют это достаточно.

Так же, как и подвижность, *масса наступательных средств составляет необходимый результат высшей ступени цивилизации*, и специально нынешняя пропорция вооруженной массы и общей численности населения неотделима от общественного порядка, стоящего под знаком господства эмансипированной буржуазии. Современная военная тактика, таким образом, предполагает эмансипацию буржуазии и крестьянства и составляет военное выражение этой эмансипации. Эмансипация пролетариата также будет иметь свое военное выражение и создаст

новый метод ведения войны. Это ясно. Можно даже определить, какие материальные основы будут лежать в основе новой системы ведения войны.

Но столь же далеко, как голое завоевание политического господства современным, пестрым, частью составляющим хвост других классов, пролетариатом отстоит от действительной эмансипации пролетариата, состоящей в уничтожении всяких классовых различий, так же далеко будут отстоять начальные попытки нового ведения войны ожидающейся революции от *военной тактики эмансипировавшегося пролетариата.*

Действительное освобождение пролетариата, полное устранение всех классовых отличий, полное обобществление всех средств производства в Германии и Франции предполагают содействие Англии и, по крайней мере, удвоение имеющихся в наличности во Франции и Германии *средств производства.* Как раз это последнее предполагает, в свою очередь, *новый способ ведения войны.* Величайшей важности открытия Наполеона в науке военного дела не могут быть устранены путем чуда. Новая военная наука должна быть в такой же степени необходимым продуктом *новых общественных отношений,* как *созданная революцией* и Наполеоном представляла результат данных революцией *новых условий.* Но как и в пролетарской революции по отношению к индустрии речь идет не о том, чтобы уничтожить паровые машины, а о том, чтобы увеличить их количество, так и в системе ведения войны *задача заключается не в уменьшении подвижности и массового характера армии, а в их усложнении.*

Предпосылкой наполеоновского ведения войны были *выросшие производительные силы.* Предпосылкой каждого нового усовершенствования в ведении войны должны быть также новые *производительные силы.* Железные дороги и электрический телеграф уже теперь дали бы повод талантливому генералу или военному министру к совершенно *новым комбинациям.* Постепенное возрастание производительных сил вместе с количеством народонаселения создали возможность для образования более многочисленных армий, чем до сих пор. Во Франции 36 миллионов вместо 25 дают в виде 5% не 1 250 000, а 1 800 000. В обоих случаях сила цивилизованных стран против варварских относительно возрастает. Они одни имеют большие железнодорожные сети, и население таких стран растет более

сильным темпом, чем, например, России. Все эти расчеты доказывают, между прочим, что длительное угнетение Западной Европы Россией невозможно и с каждым днем делается еще более невозможным.

Сила нового способа ведения войны, нарождающегося с уничтожением классовых различий, состоит, однако, не в том только, что ставящиеся под ружье 5% с ростом населения превращаются в более значительную массу. Она заключается еще в том, что создается возможность призывать под ружье не 5 — 7, а 12 — 16% населения, т.-е. две трети взрослых мужчин от 18 до 30 или 40 лет. Но так же, как и Россия не может увеличить свою боеспособную силу с 2—3% до 5% без полного переворота во всей своей внутренней социальной и политической организации и, прежде всего, производства, так же не в состоянии Германия довести процент призываемого населения с 5 до 12, *не революционизируя производства и не увеличивая, по крайней мере, вдвое его результатов.* Если только средняя работа каждого производителя увеличивается, благодаря машине, вдвое, — вдвое большее, чем теперь, число людей может быть отвлечено от работы хотя бы на короткое время, потому что долго страна не может держать на ногах даже 5%.

Если эти условия выполнены, если национальное производство поднялось и достаточно организовано, если в обществе нет больше деления на классы, что совершенно необходимо,— тогда только вся наличность способного носить оружие населения может быть призвана на службу. Это означает 15 — 20%, *из* которых 12 — 15% может быть направлено против неприятеля. Но эти огромные массы будут иметь совсем не такую подвижность, как нынешние армии. Без широко развитой железнодорожной сети они не смогут ни сосредоточиваться, ни прокармливать себя, ни снабжаться амуницией, ни передвигаться. Без электрического телеграфа ими нельзя управлять. И так как по отношению к таким огромным массам невозможно, чтобы стратегом и тактиком (т.-е. командующим непосредственно на поле сражения) было одно и то же лицо, то в данной области становится *необходимым разделение труда.* Стратегические операции, взаимодействие различных корпусов должны направляться из центрального пункта по телеграфным линиям, *тактические* — командирами отдельных частей. Что

при таких обстоятельствах войны будут решаться в гораздо более короткий срок, чем при Наполеоне, ясно само собой. *Издержки войны делают это нужным,* а решающее значение каждого удара с такими массами — *неизбежным.* По своей численности и стратегической подвижности армии должны действовать ужасающе. Тактическая подвижность (при патрулировании и огневом бое на поле сражения) с такими солдатами также значительно возрастет; они крепче, интеллигентней и гибче, чем все то, что может дать нынешнее общество.

К сожалению, все это может осуществиться только долго спустя, к тому времени, когда подобные массовые войны станут невозможными из-за отсутствия врагов. В первое время пролетарской революции таких *условий еще не будет,* и меньше всего они могут быть в 1852 году.

Пролетариат во Франции представляет едва вдвое большую величину, чем в 1789 году. Тогда, по крайней мере, с 1792 по 1794 год, пролетариат был вооружен и постоянно находился в боевой готовности. И тогда же выяснилось с очевидностью, что в революционных войнах при наличности сильных внутренних опасностей масса пролетариата *необходима для внутреннего употребления.* То же самое будет иметь место и теперь, ибо шансы контр-революции внутри страны возрастут с приближением союзников. Пролетариат сможет послать только незначительный контингент в активную армию. Главный источник армии составят люмпен-пролетариат и крестьянство. Это значит, что *революции придется вести войну средствами и методами современной военной тактики.* Только доктринер будет надеяться, что такими средствами, имея 4 — 5% населения в активной армии, можно творить новые комбинации и изобретать никому неизвестные сокрушительные методы. Достигнуть старыми средствами новых результатов в военном искусстве так же трудно, как увеличить продуктивность ткацкого станка без движущей силы, заменить ручную работу паром, не изобретая новых средств производства, имеющих чрезвычайно мало общего с ручным ткацким станком. Только появление новых сильнейших средств делает возможным достижение новых могучих результатов. Каждый великий полководец, который посредством новых комбинаций создает эпоху в военной истории, или находит сам новые материальные средства, или же дает новое применение материальным средствам, имевшимся до

него. Между Тюренном [17] и старым Фрицем лежит революция в пехоте, вытеснение пики и фитильного ружья штыком и кремневым ружьем. То, что сделало эпоху в военной тактике старого Фрица, состоит в переработке всех основ стратегии и тактики сообразно ранее вошедшим в *употребление орудиям войны.* Точно также делающая эпоху в военном деле заслуга Наполеона состоит в том, что для созданных уже колоссальных армий он *нашел единственно правильное стратегическое и тактическое применение и сделал это настолько хорошо, что даже лучшие современные генералы в своих самых ловких и талантливых операциях стремятся только копировать его.*

Подведем итоги. Революции придется с современными военными средствами и современным военным искусством бороться против современных военных средств и современного военного искусства. Шансы военного таланта в такой же степени на стороне Франции, как и на стороне коалиции. Победу таким образом принесут более сильные батальоны.

IV.

Теперь посмотрим, насколько сильны будут эти батальоны с обеих сторон.

Россия. Русская армия по спискам мирного времени номинально достигает 1 100 000, фактически же 750 000. Начиная с 1848 года, правительство настойчиво стремится довести свою армию до размеров 1 500 000. Николай I вместе с Паскевичем энергично работают в этом направлении. Минимальное количество войск, находящихся в распоряжении России, сейчас достигает 1 100 000. Из них нужно вычесть расположенные:

На Кавказе	100 000
В самой России	150 000
В польских провинциях	150 000
Больных и проч.	150 000
Итого	550 000

Остается для наступательных операций 550 000. Это едва ли больше, чем Россия действительно послала за границу в 1815 году.

Пруссия. Действующая армия с призывом ландвера и еще 1 — 2 возрастов достигает, по крайней мере, 650 000. Правительство сразу могло бы мобилизовать 550 000, но я считаю 500 000. Они должны для гарнизонной службы выделить самое большее 150 000, так как постепенный призыв следующих возрастов, досрочный набор новобранцев будущего года и огромные силы русских, которые будут проходить через страну, составят совершенно достаточный резерв против внутренних восстаний. Также можно надеяться на меньшее число больных, ибо концентрация войск будет происходить в собственной стране, и марш им предстоит до Рейна далеко не такой длинный, как для русских. Но, как и в отношении русских, я отсчитываю целую половину, и все-таки остается 250 000.

Австрия. Имеет под ружьем и может призвать сразу, так же как и Пруссия, свой ландвер, по крайней мере, 600 000. Но и здесь я отсчитываю половину, хотя по крайней мере на двух третях территории монархии русские смогут до образования новых резервов играть сами роль резервов и держать под угрозой все очаги восстания. Против неприятеля для наступления остается 300 000.

Германский Союз. Так как эти господа живут на самом Рейне или недалеко от него, они не нуждаются в гарнизонах для несения охранной службы, тем более, что при первых же успехах коалиции против Франции резервные армии будут прежде всего формироваться в Германии. Германский союз выставит, по крайней мере, 120 000. Численность войск итальянских правительств, Дании, Бельгии, Голландии я принимаю за 80 000.

Итак, вся масса войск коалиции достигает 1 300 000, которые или уже находятся в полной боевой готовности, или же мобилизуются в самое короткое время. Эти общие итоги нельзя не считать преуменьшенными. Убыль от болезней мы принимаем настолько громадной, что из одних выздоровевших через два месяца на французской границе образуется вторая армия, примерно, в 350 000. А так как ни одно правительство теперь, начиная войну, не окажется настолько неразумным, чтобы одновременно с выступлением в поход перволинейных войск не приступить к новым формированиям и не отправлять их постепенно на фронт, численность тыловой армии, таким образом, достигает еще более внушительных размеров.

Войска первой линии (1 300 000) будут сосредоточены в промежуток времени около 2-х месяцев. Что Австрия и Пруссия в состоянии в течение 2-х месяцев привести свои контингенты в боевую готовность, за это порукой прошлогодние вооружения. Что касается русских, то концентрационными пунктами для них явятся, примерно (смотри ниже), Берлин, Бреславль и Краков. От Петербурга до Берлина приблизительно 45 дневных маршей, от Берлина до Рейна 16, всего 61 по 5 немецких миль. От Москвы до Бреславля 48 маршей, от Бреславля до Майнца 20, итого 68. От Киева до Вены 40, от Вены до Базеля 22, всего 62. Если принять во внимание постои, которые необходимы для русских войск при маршах на такие длительные расстояния, все-таки ясно, что даже части русской армии, стоящие в Петербурге, Москве и Киеве, через три месяца окажутся на Рейне, и это при том условии, что все марши совершаются пешком, а не по железным дорогам или на лошадях. Но эти средства передвижения имеются в наличности повсюду в Германии и отчасти в России и Польше, и они, по крайней мере, укоротят время дороги на 15 — 20 дней. Но главная масса русских войск уже теперь стоит сосредоточенной в Польше, и при первых признаках кризиса туда, несомненно, будут двинуты новые войска, так что исходными пунктами движения русской армии нужно считать не Петербург, Москву и Киев, а, примерно, Ригу — Вильну — Минск — Дубно — Каменец. Это укорачивает протяжение марша на 60 миль, что равняется 12 походным и 4 постойным дням. При этом большую часть пехоты, в особенности ту, которая следует из более отдаленных пунктов, можно будет вести, по крайней мере, каждый третий или постойный день, так что для этой части постойные дни будут являться маршевыми. Артиллерийский материал, снабжение и запасы займут железные дороги; запряжка и прислуга артиллерии будут частью ехать, частью итти и, таким образом, придут раньше, чем при обыкновенном грунтовом движении.

После всего сказанного я могу считать отнюдь не смелым и бездоказательным утверждение, что через два месяца после взрыва революции во Франции с сосредоточением коалиционных армий на Рейне дело будет обстоять следующим образом:

Первая армия.

Первая линия в Пьемонте и на Рейне (пруссаки, австрийцы, русские)	750 000
Русские	300 000
Итого	1 050 000
Вторая линия (резервы 10 маршей позади), русские	250 000
Итого	1 300 000

Вторая армия.

Резервы маленьких народов, пруссаки, австрийцы новых наборов	200 000
Русские резервы в пути 20 маршей назад	150 000
Итого	350 000
Обе армии вместе	1 650 000

В действительности же при настоящих условиях достаточно 5 — 6 недель для сосредоточения на Рейне 300 000 русских и для стягивания туда всех вышеперечисленных контингентов Пруссии, Австрии и других союзников. Но, чтобы заранее учесть все непредвиденные трудности и затяжки, неизбежные во всех коалиционных войнах, я определяю необходимое время в два месяца. Расположение союзных войск в момент, когда Наполеон шел с острова Эльбы, было еще менее благоприятным для похода на Францию, и, однако, когда Наполеон бился с англичанами и пруссаками у Ватерлоо, русские уже были на Рейне.

Какие же ресурсы сможет противопоставить союзникам Франция?

Первая линия состоит из 450 000, из которых 50 000 нельзя взять из Алжира. Из остальных 400 000 нужно вычесть больных, необходимый минимум для занятий крепостей, небольшие отряды для охраны сомнительных пунктов внутри страны, — остается самое большее 250 000.

Излюбленное средство современных красных — призвать под знамена отслуживающих срок солдат — может быть успешно применено к 6 возрастам, скажем от 27 до 32 лет. Каждый возраст по набору будем считать за 80 000.

Опустошение алжирской войны и климата, обыкновенная смертность в течение последних 12 лет, убыль ставших негодными, выехавших из страны, а также всех тех, кто, восполь-

зовавшись беспорядками, сумеет ускользнуть от военной службы, сводят 480 000 призванных раньше солдат перечисленных возрастов на 300 000, которые явятся по новому призыву. 150 000 отчисляем на крепостные гарнизоны; последние будут комплектоваться, главным образоы, из пожилых, большей частью женатых людей. Остается всего-на-всего 150 000, которые при наличности достаточно умелого руководства в два месяца будут мобилизованы.

Народное ополчение, добровольцы, волонтеры или, как их там еще иначе называют, — это пушечное мясо. За исключением тысяч десяти gardes mobiles (подвижная гвардия), ни один из них не умеет обращаться с ружьем лучше, чем любой немецкий бюргер. Французы изучают ремесло быстрей, но два месяца слишком короткий срок. И если Наполеон своих рекрутов через 4 недели батальонной школы посылал в бой, то ведь у него в распоряжении имелись, кроме того, отличные боевые кадры, в то время как первым результатом предстоящей революции будет дезорганизация армии. В этом отношении наши французские революционеры имеют хорошую традицию. Их первый клич будет: массовый набор! Два миллиона войск к границам. Два миллона людей будут очень хороши, если только коалиция совершит такие же глупости, как в 1792 — 1793 г., и даст время эти два миллиона как следует обучить. Но о такой глупости с ее стороны, конечно, не будет и речи. Французам нужно будет через месяц быть готовыми встретить миллион неприятельских солдат на своих границах и оказать ему с шансами на успех надлежащее сопротивление.

Если французы ограничатся простым повторением 1793 года, они предпримут историю с двумя миллионамм, и действительный результат через очень короткий срок окажется равным нулю. Обучение и организация полутора миллионов людей в 8 недель без кадра на практике сведется к самому бессмысленному расточению ресурсов и не даст увеличения действительной силы армии ни на один батальон.

Если же, напротив, они будут иметь обыкновенного военного министра с некоторыми сведениями по истории революционных войн и знанием методов быстрой организации армии, если ему не будут ставить препятствий, основанных на глупости или жажде популярности, он сможет держаться в гра-

ницах осуществимого и сделать много. При этом проводить придется приблизительно следующий план:

Вооруженная сила складывается из двух составных частей.

1. Рабочая гвардия в городах, крестьянская в деревне, поскольку войска покидают страну, несет службу внутри.

2. Регулярная армия против вторжения. Крепостная служба выполняется опять-таки рабочей и крестьянской гвардией. Армия дает только самые необходимые отряды. Париж, Страсбург, Лион, Мец, Валансьен — важнейшие крепости, которые в то же время являются большими городами, кроме их собственной гвардии и небольшого количества крестьянской милиции из окрестностей, нуждаются для своей защиты только в небольшом количестве войск. Несущие службу внутри страны гвардейцы из рабочих, поскольку их отряды наполняются безработными, соединяются в учебных лагерях и приготовляются к полевой службе под руководством старых офицеров и унтер-офицеров, негодных для войны, чтобы по мере возможности пополнять убыль в рядах действующей армии. Такой лагерь может быть устроен хотя бы в Орлеане. Он будет служить угрозой для легитимистски настроенных областей.

Линейные войска, которыми располагает Франция, утраиваются с 400 000 до 1 100 000 следующим образом. Каждый батальон развертывается в полк. Неизбежное повышение по службе внушит офицерам и унтер-офицерам не меньше почтения перед революцией, чем гильотина и военный суд. Неизбежное расширение кадров будет происходить постепенно, и, что нужно офицерам, они получат. При невозможности создать новых офицеров в два месяца, это обстоятельство играет большую роль. И без того у средних и низших чинов французской армии так много национального чувства, что эти люди при шансах на карьеру, энергичном ведении военного министерства и некоторых видах на успех будут вести себя очень хорошо, в особенности, если с парой мятежников и дезертиров будет поступлено надлежащим образом. Ученики военных школ, чиновники управления дорог и шоссе дадут прекрасных артиллерийских и инженерных офицеров, и после одного-двух сражений начнут развиваться столь часто встречающиеся у французов военные таланты, которые приучаются вести кампанию, как только попадают в огонь.

Что касается до солдат, то общее их количество составляет:

Первая линия	400 000
Призванные из запаса	300 000
Остается призвать и обучить	500 000

Всего 1 200 000; исключая 100 000 больных, получаем 1 100 000. Из них могут быть употреблены для активных операций:

Первая линия	250 000
Запасные	150 000
Рекруты	400 000
Итого:	800 000

Что можно сделать с ними, — мы покажем. Обучение 400 — 500 тысяч рекрутов в качестве кадров линейной армии, при размещении их по ее полкам в течение двух месяцев, не так трудно, если к делу будет приступлено на другой день после революции. Все получаемые таким путем подкрепления можно направлять в пехоту и артиллерию. В два месяца мыслимо обучить пехотинца и пригодного к самой простой и обыкновенной стрельбе из орудий канонира, но ни в коем случае не кавалериста. Прирост кавалерии, таким образом, будет чрезвычайно слаб. При всем этом плане вооружения подразумевается, что во главе стоит обыкновенный военный министр, который понимает и правильно оценивает политические условия, который обладает знаниями стратегическими, тактическими и техническими относительно войск всех родов оружия, который имеет надлежащую долю энергии, быстроты и решительности и совершенно свободные руки от ослов, которым судьба пошлет счастье управлять вместе с ним. Но имеет ли „красная" партия во Франции в своих рядах такого человека? Больше шансов за то, что, как обыкновенно, невежественный молодец, пользующийся репутацией хорошего демократа и считающий сам себя таковым, в полном сознании своей пригодности для любого поста, станет разыгрывать из себя Карно, объявит всеобщий призыв, совершенно дезорганизует все, очень скоро исчерпает до конца свое остроумие и в конце концов окажется вынужденным передать дело рутине старых чиновников, а тем временем неприятельские армии подступят к воротам Парижа. Чтобы сопротивляться европейской коалиции теперь, нужно быть не Пашем, не Бушоттом и даже не Карно. Нужно быть

Наполеоном или иметь чертовски глупых врагов и чертовски много счастья.

Не нужно упускать из вида, что при всех вычислениях мы брали максимум вооруженных сил на стороне французов и минимум на стороне коалиции, у которой при мало-мальски сносном оперативном руководстве количество войск окажется больше, а время их сосредоточения короче. По отношению к Франции, наоборот, время подготовки взято наибольшим, общая масса войск наивысшей по количеству, всевозможные вычеты доведены до крайнего минимума, таким образом, размеры действующей армии показаны максимально большими. Поэтому, если не считать непредвиденные глупости со стороны союзников, для революции взят самый благоприятный случай.

При этом мы предвидели еще, что революция и нашествие не сразу вызовут внутри страны гражданскую войну. Теперь, после 60 лет со времени последней гражданской войны во Франции, невозможно определить, насколько легитимистский фанатизм способен вызвать более или менее эфемерное восстание. Однако, ясно во всяком случае, что в такой же степени, в которой будет происходить продвижение союзников, будет одновременно возрастать возможность союза всех политически свергнутых классов и партий. Но примем и здесь благоприятнейший для революции случай, что пролетарская и крестьянская гвардия окажется в состоянии во-время и благополучно обезоружить мятежные департаменты и классы.

О шансах, которые окажутся в распоряжении революции при наличности восстаний в Германии и Италии, скажем то же самое.

. . . . . .

О БУДУЩЕЙ ВОЙНЕ. [13]

Брошюра „Mordspatrioten“ появилась в „Volkstaat“ сразу после французской войны и вскоре вышла отдельным оттиском. Она оказалась в высшей степени действительным противоядием против той сверхпатриотической победной шумихи, которой наслаждалась и наслаждается еще официальная и буржуазная Германия. И на самом деле, нет лучшего отрезвляющего средства, как напоминание о том времени, когда вознес-

шаяся теперь к небесам Пруссия постыдно и низко сгибалась перед наступлением тех самых французов, которых теперь презирают, как побежденных. Это средство должно было действовать особенно сильно еще потому, что рассказ о фатальных событиях можно было взять из книги, в которой это позорное время было изображено, и, нужно это признать, изображено объективно и без прикрас, — по официальным прусским документам, прусским генералом, мало того, директором общей военной школы. Для большой армии (равно как и для всякой другой большой общественной организации) нет ничего лучшего, как если, после большого поражения, она уходит в себя и кается в своих грехах. Так произошло с пруссаками после Иены. Еще раз это имело место после 1850 года. В 1850 году пруссаки, правда, не потерпели никакого большого поражения, но в ряде мелких походов (в Данию и южную Германию) и в первой большой мобилизации 1850 года их полный военный развал сделался совершенно очевидным как для них самих, так и для остального мира. Они избежали тогда действительного поражения только благодаря политическому позору Варшавы и Ольмюца. [19] Чтобы научиться тому, как улучшить положение, они были принуждены подвергнуть свое собственное прошлое беспощадной критике. Прусская военная литература, выдвинувшая в лице Клаузевица звезду первой величины, а затем бесконечно низко павшая, вновь воспрянула перед лицом этой неизбежной самокритики. Одним из плодов этой самокритики и была книга Гепфнера, из которой Боркгейм заимствовал материал для своей брошюры.

И теперь еще необходимо будет снова и снова напоминать о том времени тщеславия и поражений, королевского бессилия, уличений в двуязычии, прусской глупой дипломатической хитрости, хвастливости дворянского офицерства, сохраняющейся даже при трусливейшей измене, общего развала отчужденной от народа и на лжи и обмане основанной государственности. Немецкое мещанство (к которому относятся и дворяне и князья) теперь неизмеримо больше чванливо и шовинистично, чем тогда; дипломатические действия сделались значительно более дерзкими, но старое двуязычие сохранилось; дворянское офицерство увеличилось как естественно, так и искусственно в совершенно достаточных размерах, чтобы снова в значительной мере осуществлять старое господство в армии, и государство все силь-

нее и сильнее отчуждается от интересов широких народных масс, чтобы превратиться в консорциум аграриев, биржевиков и крупных промышленников для угнетения народа. Конечно, если дело дойдет до войны, то прусско-немецкая армия уже потому, что она была организационным образцом для всех, будет обладать значительными преимуществами как перед своими противниками, так и перед союзниками. Но во всяком случае эти преимущества будут не таковы, как в двух последних войнах: трудно, например, снова рассчитывать на такое единство высшего командования и соответствующее ему безусловное повиновение низших военачальников, какое, благодаря особым счастливым обстоятельствам, установилось тогда. Деловое родство, которое царит сейчас между аграрным и военным дворянством до королевской адъютантуры включительно, с одной стороны, и биржевыми спекулянтами, с другой, легко может сделать опасным снабжение армии на фронте. Германия будет иметь союзников, но при первых же удобных обстоятельствах она бросит их, равно как и они ее. И, наконец, для Пруссии-Германии невозможна уже теперь никакая иная война, кроме всемирной войны. И это была бы всемирная война невиданного раньше размера, невиданной силы. От восьми до десяти миллионов солдат будут душить друг друга и объедать при этом всю Европу до такой степени дочиста, как никогда еще не объедали тучи саранчи. Опустошение, причиненное Тридцатилетней войной, — сжатое на протяжении трех-четырех лет и распространенное на весь континент, — голод, эпидемии, всеобщее одичание как войск, так и народных масс, вызванное острой нуждой, безнадежная путаница нашего искусственного механизма в торговле, промышленности и кредите, — все это кончается всеобщим банкротством; крах старых государств и их рутинной государственной мудрости, крах такой, что короны дюжинами валяются по мостовым и не находится никого, чтобы поднимать эти короны, абсолютная невозможность предусмотреть, как все это кончится и кто выйдет победителем из борьбы, — только один результат абсолютно несомненен: всеобщее истощение и создание условий для окончательной победы рабочего класса.

Такова перспектива, если доведенная до крайности система взаимной конкуренции в военных вооружениях принесет, наконец, свои неизбежные плоды. Вот куда, господа короли и

государственные мужи, привела ваша мудрость старую Европу. И если вам ничего больше не остается, как открыть последний великий военный танец, — мы не заплачем. Пусть война даже отбросит, может быть, нас на время на задний план, пусть отнимет у нас некоторые уже завоеванные позиции. Но если вы разнуздаете силы, с которыми вам потом уже не под силу будет справиться, то, как бы там дела ни пошли, в конце трагедии вы будете развалиной, и победа пролетариата будет либо уже завоевана, либо во всяком случае неизбежна.

Война отбросила бы нас назад на годы. Шовинизм все потопил бы, так как это была бы борьба за существование. Германия выставила бы около 5 000 000 солдат, или 10% населения, другие около 4—5%, Россия относительно меньше. Но в действие были бы пущены от десяти до пятнадцати миллионов солдат. Хотел бы я видеть, как их прокормят. Опустошение было бы такое же великое, как в Тридцатилетнюю войну. И дело не кончилось бы быстро, несмотря на колоссальные военные силы. Ибо на северо-восточных и юго-восточных границах Франция защищена очень длинной линией крепостей, а Париж снабжен образцовыми укреплениями. Стало быть, война затянулась бы долго, точно также и Россию нельзя одним ударом победить. И если все пойдет по желанию Бисмарка, то на нацию будет возложено столько тягостей, каких она раньше никогда не терпела, и вполне возможно, что отсутствие решающих битв и частичные поражения вызовут внутренний переворот.

Если же немцы с самого начала будут побиты или будут вынуждены на продолжительную оборонительную войну, тогда переворот уже несомненно наступит. А в том случае, если война кончится без внутренних потрясений, то наступит такое истощение, какого Европа уже 200 лет не переживала. Победительницей явилась бы по всей линии американская промышленность и поставила бы всех нас перед выбором: либо вернуться назад к сельскому хозяйству и производить только для собственного потребления (так как всякое другое применение агрикультуры исключается американской конкуренцией на хлебном рынке), либо — социальный переворот. В силу этого я думаю, что не доведут до крайности, а имеется в виду ограни-

читься только запугиванием войной. Но пусть только раздастся первый выстрел, и буржуазные правительства потеряют сейчас же контроль над собой, и все завертится.

ВОЕННАЯ ДИСЦИПЛИНА И РЕВОЛЮЦИЯ [20]

Что касается соображений Техова [21] о войне, то они и в военном отношении безгранично плоски, а местами прямо ошибочны. Я не буду говорить о таких глубоких истинах, как та, что против силы можно действовать лишь силой, и о бессмысленных открытиях, в роде того, что революция только тогда сможет победить, когда она будет всеобщей (буквально, если не встретит никакого сопротивления, а по смыслу, если она будет буржуазной революцией). Не буду останавливаться также на благожелательном намерении подавить роковую „внутреннюю политику", т.-е. настоящую революцию с помощью какого-нибудь диктатора, несмотря на Кавеньяка и Виллиха, [22] до сих пор еще не открытого: надо оставить в стороне и эту замечательную политическую формулировку взглядов этих господ на революцию. По поводу же военной стороны необходимо заметить следующее.

Железная дисциплина, которая одна может создать победу, есть как раз оборотная сторона этого „отсрочивания военной политики" и военной диктатуры. Откуда должна явиться эта дисциплина? У этих господ должен бы накопиться кое-какой опыт в Бадене и Пфальце. Ведь очевидный же факт, что дезорганизованная армия и полное разложение дисциплины являлось как условием, так и результатом всякой победоносной революции. Во Франции понадобилось время с 1789 по 1792 г., чтобы снова сорганизовать армию в 60—80 тысяч человек — армию Дюмурье. И эта армия снова распалась, и во Франции не было, собственно говоря, никакой организованной армии вплоть до конца 1793 г. В Венгрии потребовалось время с марта 1848 г. до середины 1849 г., пока у нее не появилось организованной армии. Но кто внес в армию дисциплину во время первой французской революции? Не генералы, которые получают влияние и значение у импровизированных армий только после нескольких побед в революции, а террор внутренней политики, гражданская власть.

О КЛАУЗЕВИЦЕ.[23]

Я читаю теперь, между прочим, Клаузевица о войне. Своеобразный способ философствовать, но в сущности очень хорошо. На вопрос, какое следует употреблять название, — военное искусство или военная наука, ответ гласит, что война более всего похожа на торговлю. Битва в войне это все равно, что плата наличными в торговле, как бы редко в действительности это ни происходило, все-таки все сводится к этому: в конце концов она должна произойти и разрешить все.

ВОЙНА И ЭКОНОМИКА.[24]

История военного дела дает возможность всего нагляднее подтвердить правильность нашего воззрения на связь производительных сил и общественных отношений. Вообще армия очень важна для экономического развития. Например, заработная плата впервые развилась вполне в армии, у древних. Равным образом у римлян лагерное имущество (peculium castrense) явилось первой правовой формой, в которой стали признавать движимую собственность не отца семейства (pater familias). Точно также впервые при войске возник цеховый порядок корпораций fabri (ремесленников). Точно также здесь впервые встречается в крупных размерах применение машин. Даже особая ценность металлов и их роль, как денег, повидимому, основывалась первоначально на их военном значении, как только миновал гриммовский каменный век. Точно также и разделение труда *внутри* отдельных отраслей промышленности было впервые проведено в армиях. Тут в сжатом виде — вся история буржуазных общественных форм. Если у тебя когда-нибудь будет время, ты должен разработать этот вопрос с этой именно точки зрения.

Единственными пунктами твоего изложения,* заслуживающими, по моему мнению, пересмотра, являются следующие: 1. Первое законченное образование наемного войска в крупном размере и сразу — у карфагенян (я просмотрю сочинение одного берлинца, о котором я узнал позднее). 2. Развитие военного

---

* В статье Энгельса „Армия“ для американского энциклопедического словаря.

дела в Италии в XV ст. Здесь выработались тактические ухищрения. Кстати, у Макиавелли в его истории Флоренции имеется полное юмора описание способов, какими сражались друг с другом кондотьеры. Я сделал тебе выписку. Впрочем, лучше привезу с собой том Макиавелли, когда приеду к тебе в Брайтон. Его история Флоренции — высоко-мастерское произведение. Наконец, азиатское военное дело, как оно впервые появляется у персов, впоследствии же встречается у монгольских, тюркских народностей и у других в разнообразно измененном виде.

Наша теория, что *организация труда* обусловливается *средствами производства*, нигде, кажется, так блестяще не подтверждается, как в „человекоубойной промышленности". Право, стоило бы, чтобы ты написал об этом что-нибудь (у меня для этого не хватает знаний), что можно было бы за твоей подписью внести в мою книгу в виде приложения. Подумай об этом. Если это делать, то надо делать для первого тома, где я эту тему исследую подробно. Ты понимаешь, как приятно было бы мне, если бы ты появился в моем главном труде (до сих пор я писал только мелочи) в качестве сотрудника, а не только при посредстве цитат.

ПРИМЕЧАНИЯ.

[1] Под этим заголовком мы даем гл. III второй части „Анти-Дюринга" — „Теория насилия".

[2] Это елишком категорическое заявление Энгельса может породить недоразумения. Как убедится читатель ниже, говоря о состязании между силой орудий и крепостью брони, Энгельс не видит этому состязанию никаких технических границ; точно также, касаясь других вопросов военной техники, он всегда подчеркивает, что техническое развитие не знает пределов. Во всяком случае, последующее развитие военной техники показало, что Энгельс недооценил возможности развития огнестрельного оружия. Пулеметы, скорострельные пушки, артиллерия, стреляющая по невидимой цели, подводная и воздушная война и другие технические усовершенствования в этой области показали, в какую сторону может итти дальше развитие огнестрельного оружия и применение взрывчатых веществ вообще. В частности, с распространением пулеметов, естественно должны были измениться и тактические приемы, что мы видели на примере войны 1914 — 1918 гг.

[3] Неоконченная статья Энгельса, написанная в конце 1851 г., в связи со статьей революционера эмигранта Техова, бывшего немецкого офицера.

Мы печатаем ее без последней главки, имеющей чисто технический интерес. Ниже мы прилагаем еще отрывок из письма Энгельса Марксу, подвергающего критике ту же статью Техова.

[4] Карно был по образованию военным инженером. Буржуазные историки часто называют его „организатором победы" в военных кампаниях революционной Франции. Он примыкал к якобинцам. В период Законодательного Собрания был членом комитетов дипломатического и народного образования. Затем в эпоху Конвента был членом якобинского Комитета Общественного Спасения, ведая делом обороны республики. Из последнего он вышел после переворота 9 термидора. С учреждением Директории он был избран на пост одного из директоров и был одно время ее председателем, ведая военным делом. После событий 18 фруктидора (см. прим. 9) бежал в Швейцарию и возвратился во Францию лишь после переворота Наполеона I, от которого снова получил пост военного министра. В период Консульства вышел из министерства и отошел от политической деятельности. Только к концу Империи Наполеона I он снова предложил свои услуги для борьбы с наступавшими войсками третьей коалиции и был назначен Наполеоном губернатором Антверпена. В период 100 дней был министром внутренних дел. Жизнь окончил в эмиграции.

[5] Генерал Дюмурье был министром иностранных дел в период Законодательного Собрания, а затем, после измены Лафайета, главнокомандующим северными французскими революционными армиями. После процесса Людовика XVI изменил Конвенту и хотел со всей своей армией перейти на сторону антифранцузской коалиции и содействовать восстановлению во Франции монархии. В этих целях он завязал с австрийским генералом Монком переговоры о перемирии и попытался обратить войска против Парижа. Однако революционные солдаты, узнав об аресте комиссаров Конвента, находившихся при армии, и выяснив цели Дюмурье, возмутились, и Дюмурье с большим трудом удалось избежать смерти. Он бежал в Англию. Там он жил на пенсию английского правительства и составлял для него военные проекты против Франции.

[6] Лафайет — автор первой „Декларации прав человека и гражданина", „герой двух миров", т. е. „Нового" и „Старого" света, как его несколько иронически называли в начале Великой Французской революции. До событий 1789 г. был в Америке, куда уехал в начале американской революции и где принимал участие в военных действиях на стороне революционеров. Во время Великой Французской революции он выступал, как „фельян", т.-е. монархист-конституционалист. В период Учредительного Собрания был начальником Национальной гвардии, но вскоре должен был отказаться от этого поста, так как благодаря своей защите Людовика XVI лишился какой бы то ни было популярности. Во время Законодательного Собрания неудачно командовал Лотарингской армией. После низложения Людовика XVI попытался организовать вооруженное сопротивление Законодательному Собранию, но войско не поддержало его, и он вынужден был бежать за границу. Впоследствии он принимал участие в революции 1830 г. и играл в ней такую же двусмысленную роль, поддерживая Луи Филиппа.

[7] Сен-Жюст — член Конвента и Комитета Общественного Спасения. Выдающийся политический оратор-якобинец. Вместе с Робеспьером и Куто-

ном руководил общей политикой Конвента и был одним из идеологов террора. Неоднократно выезжал в армию и наводил там порядки. Был гильотинирован после переворота 9 термидора.

[8] Паш был военным министром в жирондистском правительстве Ролана (на смену которому после пришел Робеспьер). Разойдясь с жирондистами, Паш вышел из правительства и был избран парижским мэром. Бушотт был военным министром до того периода, когда военные дела взял в свои руки Комитет Общественного Спасения. И Паш и Бушотт сочувствовали гебертистам — крайней якобинской левой.

[9] Термидор, фруктидор и брюмер — названия месяцев согласно революционному календарю, установленному Конвентом. 9 термидора 2-го года (27 июля 1794 г.) совершился переворот, положивший конец диктатуре якобинского центра, возглавляемого Робеспьером, и началась буржуазная реакция. 18 фруктидора (4 октября 1797 г.) часть директории, поддержанная Наполеоном, совершила переворот, означавший дальнейший сдвиг термидорианцев вправо. И, наконец, 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) Наполеон Бонапарт совершил свой переворот, давший ему власть в качестве первого консула республики. В 1802 г. он сделался пожизненным консулом, а в 1804 г. был провозглашен императором.

[10] Т.-е. Фридрих Великий.

[11] Паскевич — генерал, приближенный Николая I. За операции на Кавказе (взятие Эривани) получил титул Эриванского. В 1828 г. руководил операциями против турок на Кавказском фронте. В 1830 г. командовал армией, подавлявшей польское восстание. В 1849 г. руководил подавлением венгерской революции. В 1854 г. командовал Дунайской армией.

[12] Нессельроде — министр иностранных дел Николая I, обладавший большим политическим влиянием.

[13] Австрийский фельдмаршал Виндишгрец перед революцией 1848 г. командовал дивизией в Богемии. В 1848 г. выдвинулся как политическая фигура со стороны реакционной партии и получил диктаторские полномочия. Подавил движение в Праге и Вене, после чего был назначен командующим войсками против отложившейся Венгрии. Кампанию эту вел так бездарно, что вскоре должен был уступить командование Вельдену. Последний в 1848 г. участвовал в подавлении итальянского движения, а затем, после взятия Вены Виндишгрецом, был назначен для „водворения порядка" в столицу. Антивенгерскими войсками командовал всего три месяца и после неудач был отозван назад в Вену. Генерал Гец участвовал в венгерской кампании под начальством Виндишгреца и был убит при штурме Вайцены венграми.

[14] Радецкий — австрийский фельдмаршал. Участвовал в турецкой войне 1790 г. Отличился при Маренго и Гогенлиндене. Участвовал в реорганизации австрийской армии после 1813 г. В 1848 г. командовал австрийской армией в Италии, подавлявшей итальянскую революцию. Эту кампанию провел успешно для Австрии.

[15] Удино — генерал, командовавший французской экспедицией, организованной Луи Бонапартом для помощи Риму против революционного движения, и в 1849 г. подавивший Римскую республику, одним из организаторов которой был Гарибальди.

[16] Кавеньяк — умеренный буржуазный республиканец. На военной службе выделился, будучи губернатором Алжира. В революцию 1848 г. был членом Учредительного и Законодательного Собраний. Будучи военным министром, получил диктаторские полномочия для подавления рабочего движения в Париже, что и проделал с большой жестокостью (июньские дни). Выставлял кандидатуру на пост президента Второй Республики, но был побит Луи Бонапартом, получившим втрое больше голосов, чем он.

[17] Тюренн, начав во время 30-летней войны военную службу рядовым, быстро выдвинулся, благодаря своим необычайным способностям, и кончил ее маршалом. В эпоху Людовика XIV считался одним из лучших полководцев Франции. Много сделал для развития военных знаний, особенно в области тактики.

[18] Под этим заголовком мы объединяем отрывок из предисловия Энгельса к книжке Боркгейма „Zur Erinnerung für die deutschen Mordspatrioten 1806 — 1807", написанного в 1887 г., и письмо к Зорге, написанное 7 января 1888 г.

[19] „Политический позор Варшавы и Ольмюца" заключался в следующем. Пруссия, оказавшая во время революции 1848 года вооруженную помощь ряду немецких княжеств, рассчитывала использовать это обстоятельство для завоевания гегемонии в деле объединения Германии и предприняла соответствующие шаги. Австрия, игравшая при старых порядках первую скрипку в немецком концерте, старалась парализовать влияние Пруссии в свою пользу. Николай I пригласил представителей Австрии и Пруссии в Варшаву и, третируя их, приказал восстановить положение, существовавшее раньше, что было унизительным для Пруссии. Правительство Пруссии под воздействием общественного мнения объявило мобилизацию, но действительно выступать против Австрии не собиралось и в Ольмюце подписало позорный договор, который даже старым прусским дипломатом Пурталесом был квалифицирован как оплеуха.

[20] Здесь мы приводим часть письма Энгельса Марксу от 26 сентября 1851 г., написанного в связи со статьей Техова (см. прим. 3).

[21] Техов — бывший прусский офицер, демократ, эмигрировавший после революции 1848 г. Статья Техова, о которой говорит Энгельс, ставит вопрос о возможности в ближайшее время революции во Франции и о перспективах борьбы революционной Франции с реакционной коалицией. Ответом на эту статью Техова должна была служить приведенная нами выше статья Энгельса „О предпосылках войны Священного союза против Франции". Однако Энгельс, как мы уже говорили, не закончил этой статьи. Она была опубликована лишь после смерти ее автора, именно в 1914 году.

[22] Виллих — бывший прусский офицер, член „Союза Коммунистов", игравший большую роль во время революции 1848 г. в Баденско-Пфальцском восстании. Он руководил операциями революционных отрядов, при чем должность адъютанта при нем исполнял Энгельс. После революции вместе с Шаппером был в оппозиции к Марксу и Энгельсу в „Союзе Коммунистов". В 1853 г. Маркс написал против него брошюрку „Рыцарь благородного образа мыслей".

[23] Отрывок из письма Энгельса Марксу от 7 января 1858 г.

[24] Под этим заголовком мы объединяем два отрывка из писем Маркса к Энгельсу от 5 сентября 1857 г. и 7 июля 1866 г.

ЛЕНИН О ВОЙНЕ В СВЯЗИ С ЗАДАЧАМИ РЕВОЛЮЦИИ.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Предлагаемые ниже статьи Ленина, посвященные вопросам войны, как внешней, так и внутренней, гражданской, теснейшим образом, как всегда у Ленина, связаны с вопросами и задачами революции. Они имеют огромное теоретическое значение для установления взглядов революционного марксизма на войну, ее социальные корни и ее значение для пролетариата. А некоторые предсказания Ленина не только не уступают предсказаниям Энгельса о будущих войнах, но превосходят их по своей точности, по гениальному предвидению грядущих событий.

Из многочисленных работ Ленина в этой области мы старались выбрать те, которые, не отнимая слишком много места, ближе всего касались бы основной темы нашего сборника, т.-е. войны как социального явления.

В конце этого приложения даны некоторые пояснительные примечания.

Б. Г.

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА. [1]

Вопрос о партизанских действиях сильно интересует нашу партию и рабочую массу. Мы уже затрагивали неоднократно этот вопрос мимоходом и теперь намерены приступить к обещанному нами более цельному изложению наших взглядов.

I.

Начнем сначала. Какие основные требования должен предъявить всякий марксист к рассмотрению вопроса о формах борьбы? Во-первых, марксизм отличается от всех примитивных

форм социализма тем, что он не связывает движения с какой-либо определенной формой борьбы. Он признает самые различные формы борьбы, при чем не „выдумывает“ их, а лишь обобщает, организует, придает сознательность тем формам борьбы революционных классов, которые возникают сами собой в ходе движения. Безусловно враждебный всяким отвлеченным формулам, всяким доктринерским рецептам, марксизм требует внимательного отношения к идущей *массовой* борьбе, которая с развитием движения, с ростом сознательности масс, с обострением экономических и политических кризисов порождает все новые и все более разнообразные способы обороны и нападения. Поэтому марксизм безусловно не зарекается ни от каких форм борьбы. Марксизм ни в каком случае не ограничивается возможными и существующими только в данный момент формами борьбы, признавая *неизбежность* новых, неведомых для деятелей данного периода форм борьбы с изменением данной социальной конъюнктуры. Марксизм в этом отношении *учится*, если можно так выразиться, у массовой практики, далекий от претензий *учить* массы выдумываемым кабинетными „систематиками“ формам борьбы. Мы знаем, — говорил, например, Каутский, рассматривая формы социальной революции, — что грядущий кризис принесет нам новые формы борьбы, которых мы не можем предвидеть теперь.

Во-вторых, марксизм требует безусловно *исторического* рассмотрения вопроса о формах борьбы. Ставить этот вопрос вне исторически-конкретной обстановки — значит не понимать азбуки диалектического материализма. В различные моменты экономической эволюции, в зависимости от различных условий, политических, национально-культурных, бытовых и т. д., различные формы борьбы выдвигаются на первый план, становятся главными формами борьбы, а в связи с этим, в свою очередь, видоизменяются и второстепенные, побочные формы борьбы. Пытаться ответить да или нет на вопрос об определенном средстве борьбы, не рассматривая детально конкретной обстановки данного движения на данной ступени его развития, — значит покидать совершенно почву марксизма.

Таковы два основные теоретические положения, которыми мы должны руководиться. История марксизма в Западной Европе дает нам бездну примеров, подтверждающих сказанное. Европейская социал-демократия считает в данное время

парламентаризм и профессиональное движение главными формами борьбы, она признавала восстание в прошлом и вполне готова признать его, с изменением конъюнктуры, в будущем,— вопреки мнению либеральных буржуа, вроде русских кадетов и беззаглавцев. Социал-демократия отрицала всеобщую стачку в 70-х годах, как социальную панацею, как средство сразу свергнуть буржуазию неполитическим путем, — но социал-демократия вполне признает массовую политическую стачку (особенно после опыта России в 1905 г.), как *одно* из средств борьбы, необходимое при *известных* условиях. Социал-демократия признавала уличную баррикадную борьбу в 40-х годах XIX века, — отвергала ее на основании определенных данных в конце XIX века, — выражала полную готовность пересмотреть этот последний взгляд и признать целесообразность баррикадной борьбы после опыта Москвы, выдвинувшей, по словам К. Каутского, новую баррикадную тактику. [2]

II.

Установив общие положения марксизма, перейдем к русской революции. Припомним историческое развитие выдвинутых ею форм борьбы. Сначала экономические стачки рабочих (1896 — 1900), затем политические демонстрации рабочих и студентов (1901 — 1902), крестьянские бунты (1902), начало массовых политических стачек в различных комбинациях с демонстрациями (Ростов 1902, летние стачки 1903, 9-е января 1905), всероссийская политическая стачка с местными случаями баррикадной борьбы (октябрь 1905), массовая баррикадная борьба и вооруженное восстание (1905, декабрь), парламентская мирная борьба (апрель — июнь 1906), военные частичные восстания (июнь 1905 — июль 1906), крестьянские частичные восстания (осень 1905 — осень 1906).

Таково положение дел к осени 1906 г. с точки зрения форм борьбы вообще. „Ответной“ формой борьбы самодержавия является черносотенный погром, начиная от Кишинева весной 1903 г. и кончая Седлецом осенью 1906 г. За весь этот период организация черносотенного погрома и избиения евреев, студентов, революционеров, сознательных рабочих все более прогрессирует, совершенствуется, объединяя с насилием подкупленной черни насилия черносотенного войска, доходя до

применения артиллерии в селах и городах, сливаясь с карательными экспедициями, карательными поездами и так далее.

Таков основной фон картины. На этом фоне вырисовывается — несомненно, как *нечто* частное, второстепенное, побочное, — то явление, изучению и оценке которого посвящена настоящая статья. Что представляет собой это явление? каковы его формы? его причины? время возникновения и степень распространения? его значение в общем ходе революции? его отношение к организуемой и руководимой социал-демократией борьбе рабочего класса? Таковы вопросы, к которым мы должны теперь перейти от обрисовки общего фона картины.

Интересующее нас явление есть *вооруженная* борьба. Ведут ее отдельные лица и небольшие группы лиц. Частью они принадлежат к революционным организациям, частью (в некоторых местностях России *большею* частью) не принадлежат ни к какой революционной организации. Вооруженная борьба преследует две *различные* цели, которые необходимо *строго* отличать одну от другой; именно, борьба эта направлена, во-первых, на убийство отдельных лиц, начальников и подчиненных военно-полицейской службы; во-вторых, на конфискацию денежных средств как у правительства, так и частных лиц. Конфискуемые средства частью идут на партию, частью специально на вооружение и подготовку восстания, частью на содержание лиц, ведущих характеризуемую нами борьбу. Крупные экспроприации (кавказская в 200 с лишним тысяч рублей, московская 875 тысяч рублей) шли именно на революционные партии в первую голову, — мелкие экспроприации идут прежде всего, а иногда и всецело, на содержание „экспроприаторов". Широкое развитие и распространение получила эта форма борьбы, несомненно, лишь в 1906 году, т.-е. после декабрьского восстания. Обострение политического кризиса до степени вооруженной борьбы и в особенности обострение нужды, голодовки и безработицы в деревнях и городах играли крупную роль в числе причин, вызвавших описываемую борьбу. Как преимущественную и даже *исключительную* форму социальной борьбы, эту форму восприяли босяческие элементы населения, люмпены и анархистские группы. Как „ответную" форму борьбы со стороны самодержавия, следует рассматривать военное положение, мобилизацию новых войск, черносотенные погромы (Седлец), военно-полевые суды.

III.

Обычная оценка рассматриваемой борьбы сводится к следующему: это анархизм, бланкизм, старый террор, действия оторванных от масс одиночек, деморализующие рабочих, отталкивающие от них широкие круги населения, дезорганизующие движение, вредящие революции. Примеры, подтверждающие такую оценку, легко подыскиваются из сообщаемых каждый день в газетах событий.

Но показательны ли эти примеры? Чтобы проверить это, возьмем местность *с наибольшим* развитием рассматриваемой формы борьбы — Латышский край. Вот как жалуется на деятельность Латышской социал-демократии газета „Новое Время“ (от 8 и 12 сент.). Латышская с.-д. р. партия (часть Р.С.-Д.Р.П.) правильно выпускает в 30 000 экземплярах свою газету. В официальном отделе печатаются списки шпионов, уничтожение которых есть обязанность каждого честного человека. Содействующие полиции объявляются „противниками революции“ и подлежат казни, отвечая, кроме того, своим имуществом. Деньги для партии с.-д. приказывают населению передавать лишь по предъявлении квитанции с печатью. В последнем отчете партии среди 48 000 руб. дохода за год значится 5600 руб. от Либавского отделения на оружие, добытые путем экспроприации. — „Новое Время“ рвет и мечет, понятно, против этого „революционного законодательства“, этого „грозного правительства“.

Назвать анархизмом, бланкизмом, терроризмом эту деятельность латышских с.-д. никто не решится. Но почему? Потому, что здесь *ясна* связь новой формы борьбы с восстанием, которое было в декабре и которое назревает вновь. В применении ко всей России эта связь не так ясно видна, но она существует. Распространение „партизанской“ борьбы именно после декабря, связь ее с обострением не только экономического, но и политического кризиса несомненна. Старый русский терроризм был делом интеллигента-заговорщика; теперь партизанскую борьбу ведет, по общему правилу, рабочий боевик или просто безработный рабочий. Бланкизм и анархизм легко приходят в голову людям, склонным к шаблонам, но в обстановке восстания, столь ясной в Латышском крае, непригодность этих заученных ярлычков бьет в глаза.

На примере латышей ярко видна полная неправильность, ненаучность, неисторичность столь обычного у нас анализа партизанской войны вне связи с обстановкой восстания. Надо принять во внимание эту обстановку, подумать об особенностях промежуточного периода между крупными актами восстания, надо понять, какие формы борьбы порождаются при этом неизбежно, а не отделываться заученным подбором слов, одинаковых и у кадета, и у нововременца: анархизм, грабеж, босячество!

Говорят: партизанские действия дезорганизуют нашу работу. Применим это рассуждение к обстановке после декабря 1905 г., к эпохе черносотенных погромов и военных положений. Что больше дезорганизует движение в *такую* эпоху: отсутствие ли отпора или организованная партизанская борьба? Сравните центральную Россию с западной ее окраиной, с Польшей и Латышским краем. Несомненно, что партизанская борьба гораздо шире распространена и выше развита на западной окраине. И так же несомненно, что революционное движение вообще, с.-д. движение в особенности, *больше дезорганизованы* в центральной России, чем на западной окраине ее. Конечно, нам в голову не приходит выводить отсюда, что польское и латышское с.-д. движение менее дезорганизованы *благодаря* партизанской войне. Нет. Отсюда следует только, что партизанская война неповинна в дезорганизации с.-д. рабочего движения в России 1906 г.

Тут нередко ссылаются на особенность национальных условий. Но эта ссылка выдает в особенности ярко слабость ходячей аргументации. Если дело в национальных условиях, значит, дело не в анархизме, бланкизме, терроризме — грехах общероссийских и даже специально русских, а в чем-то ином. Разберите это что-то иное *конкретно*, господа! Вы увидите тогда, что национальный гнет или антагонизм ничего не объясняет, ибо он был всегда на западных окраинах, а партизанскую борьбу родил только данный исторический период. Есть много мест, где есть национальный гнет и антагонизм, но нет партизанской борьбы, развивающейся иногда без всякого национального гнета. Конкретный разбор вопроса покажет, что дело не в национальном гнете, а в условиях восстания. Партизанская борьба есть неизбежная форма борьбы в такое время, когда массовое движение уже дошло на деле до восста-

ния и когда наступают более или менее крупные промежутки между „большими сражениями“ в гражданской войне.

Дезорганизуют движение не партизанские действия, а слабость партии, не умеющей *взять* в *руки* эти действия. Вот почему обычные у нас, русских, анафемы против партизанских выступлений соединяются с действительно дезорганизующими партию тайными, случайными, неорганизованными партизанскими действиями. Бессильные понять, какие исторические условия вызывают эту борьбу, мы бессильны и парализовать ее дурные стороны. А борьба тем не менее идет. Ее вызывают могучие экономические и политические причины. Мы не в силах устранить эти причины и устранить этой борьбы. Наши жалобы на партизанскую борьбу, это — жалобы на нашу партийную слабость в деле восстания.

Сказанное нами о дезорганизации относится и к деморализации. Деморализует не партизанская война, а *неорганизованность*, беспорядочность, беспартийность партизанских выступлений. От этой *несомненнейшей* деморализации нас ни капли не избавляют осуждения и проклятия по адресу партизанских выступлений, ибо эти осуждения и проклятия абсолютно бессильны остановить явление, вызываемое глубокими экономическими и политическими причинами. Возразят: если мы бессильны остановить ненормальное и деморализующее явление, то это не довод за переход *партии* к анормальным и деморализующим средствам борьбы. Но такое возражение было бы уже чисто либерально-буржуазным, а не марксистским, ибо считать *вообще* анормальной и деморализующей гражданскую войну или партизанскую войну, как одну из ее форм, марксист не может. Марксист стоит на почве классовой борьбы, а не социального мира. В известные периоды острых экономических и политических кризисов классовая борьба доразвивается до прямой гражданской войны, т.-е. вооруженной борьбы между двумя частями народа. В такие периоды марксист *обязан* стоять на точке зрения гражданской войны. Всякое моральное осуждение ее совершенно недопустимо с точки зрения марксизма.

В эпоху гражданской войны идеалом партии пролетариата является *воюющая партия*. Это абсолютно неоспоримо. Мы вполне допускаем, что с точки зрения гражданской войны можно доказать *нецелесообразность* тех или иных форм гражданской войны в тот или иной момент. Критику различных

форм гражданской войны с точки зрения *военной целесообразности* мы вполне признаем и безусловно соглашаемся, что решающий голос в *таком* вопросе принадлежит практикам с.-д. каждой отдельной местности. Но во имя принципов марксизма мы безусловно требуем, чтобы от анализа условий гражданской войны не отделывались избитыми и шаблонными фразами об анархизме, бланкизме, терроризме, чтобы бессмысленные приемы партизанских действий, примененных такой-то пепеэсовской [3] организацией в такой-то момент, не выдвигались, как пугало, по вопросу о самом участии с.-д. в партизанской войне вообще.

К ссылкам на дезорганизацию движения партизанской войной надо относиться критически. *Всякая* новая форма борьбы, сопряженная с новыми опасностями и новыми жертвами, неизбежно „дезорганизует" неподготовленные к этой новой форме борьбы организации. Наши старые кружки пропагандистов дезорганизовывал переход к агитации. Наши комитеты дезорганизовывал впоследствии переход к демонстрациям. Всякое военное действие на какой угодно войне вносит известную дезорганизацию в ряды воюющих. Отсюда нельзя выводить, что не следует воевать. Отсюда надо выводить, что следует *научиться* воевать. Только и всего.

Когда я вижу социал-демократов, горделиво и самоводольно заявляющих: мы не анархисты, не воры, не грабители, мы выше этого, мы отвергаем партизанскую войну, тогда я спрашиваю себя: понимают ли эти люди, что они говорят? По всей стране идут вооруженные стычки и схватки черносотенного правительства с населением. Это явление абсолютно неизбежное на данной ступени развития революции. Население стихийно, неорганизованно — и именно поэтому часто в неудачных и *дурных* формах — реагирует на это явление тоже вооруженными стычками и нападениями. Я понимаю, что мы в силу слабости и неподготовленности нашей организации можем отказаться в данной местности и в данный момент от партийного руководства *этой* стихийной борьбой. Я понимаю, что этот вопрос должны решать местные практики, что переработка слабых и неподготовленных организаций дело нелегкое. Но когда я вижу у теоретика или публициста социал-демократии не чувство печали по поводу этой неподготовленности, а горделивое самодовольство и нарцисовски-восхищенное повторение

заученных в ранней молодости фраз об анархизме, бланкизме, терроризме, тогда мне становится обидно за унижение самой революционной в мире доктрины.

Говорят: партизанская война приближает сознательный пролетариат к опустившимся пропойцам босякам. Это верно. Но отсюда следует только то, что никогда партия пролетариата не может считать партизанской войны единственным или даже главным средством борьбы; что это средство должно быть подчинено другим, должно быть соразмерено с главными средствами борьбы, облагорожено просветительным и организующим влиянием социализма. А без этого *последнего* условия *все*, решительно все средства борьбы в буржуазном обществе приближают пролетариат к различным непролетарским слоям вверху или внизу от него и, будучи предоставлены стихийному ходу вещей, истрепываются, извращаются, проституируются. Стачки, предоставленные стихийному ходу вещей, извращаются в „Alliances" — соглашения рабочих с хозяевами *против* потребителей. Парламент извращается в публичный дом, где шайка буржуазных политиканов торгует оптом и в розницу „народной свободой", „либерализмом", „демократией", республиканизмом, антиклерикализмом, социализмом и всеми прочими ходкими товарами. Газета извращается в общедоступную сводницу, в орудие развращения масс, грубой лести низменным инстинктам толпы и т. д., и т. д. Социал-демократия не знает универсальных средств борьбы, таких, которые отгораживали бы пролетариат китайской стеной от слоев, стоящих немного выше или немного ниже его. Социал-демократия в различные эпохи применяет различные средства, *всегда* обставляя применение их *строго* определенными идейными и организационными условиями. *

IV.

Формы борьбы в русской революции отличаются гигантским разнообразием по сравнению с буржуазными революциями

---

* Большевиков с.-д. часто обвиняют в легкомысленно-пристрастном отношении к партизанским выступлениям. Нелишне поэтому напомнить, что в проекте резолюции о партизанских действиях, та *часть* большевиков, которая их защищает, выдвигала следующие условия их признания: „эксы" частного имущества не допускались вовсе; „эксы" казенного имущества не

Европы. Каутский отчасти предсказал это, говоря в 1902 году о том, что будущая революция (он добавлял: за исключением, *может быть*, России) будет не столько борьбой народа с правительством, сколько борьбой между двумя частями народа. В России мы видим, несомненно, более широкое развитие этой *второй* борьбы, чем в буржуазных революциях Запада. Враги нашей революции из среды народа малочисленны, но они организуются все больше и больше с обострением борьбы и и получают поддержку реакционных слоев буржуазии. Совершенно естественно и неизбежно поэтому, что в *такую* эпоху, в эпоху всенародных политических стачек, *восстание* не сможет вылиться в старую форму единичных актов, ограниченных очень коротким промежутком времени и очень небольшой местностью. Совершенно естественно и неизбежно, что восстание принимает более высокие и сложные формы продолжительной, охватывающей всю страну гражданской войны, т.-е. вооруженной борьбы между двумя частями народа. Такую войну нельзя себе мыслить иначе, как ряд немногих, отделенных большими сравнительно промежутками времени, крупных сражений и массу мелких стычек в течение этих промежутков. Раз это так, — а это несомненно так, — то социал-демократия непременно должна ставить своей задачей создание таких организаций, которые бы в наибольшей мере способны были руководить массами и в этих крупных сражениях и, по возможности, в этих мелких стычках. Социал-демократия в эпоху обострившейся до гражданской войны борьбы классов должна ставить своей задачей не только участие, но и руководящую роль в *этой гражданской войне*. Социал-демократия должна воспитывать и подготовлять свои организации к тому, чтобы они действительно выступали, как *воюющая сторона*, не упускающая ни одного случая нанести ущерб силам неприятеля.

рекомендовались, а только *допускались* под условием *контроля партии* и обращения средств на *нужды восстания*. Партизанские действия в форме террора *рекомендовались* против насильников правительства и *активных* черносотенцев, но при условиях: 1) считаться с настроением широких масс; 2) принимать во внимание условия рабочего движения данной местности; 3) заботиться о том, чтобы силы пролетариата не растрачивались понапрасну. Практическое отличие от этого проекта той резолюции, которая была принята на объединительном съезде, состоит *исключительно* в том, что не допущены „эксы" казенного имущества. [4]

Это — трудная задача, слов нет. Ее нельзя решить сразу. Как перевоспитывается и учится в борьбе весь народ в ходе гражданской войны, так и наши организации должны быть воспитаны, должны быть на основании данных опыта перестроены для того, чтобы удовлетворить этой задаче.

Мы не имеем ни малейших претензий на то, чтобы навязывать практикам какую-нибудь сочиненную форму борьбы, или даже на то, чтобы решать из кабинета вопрос о роли тех или иных форм партизанской войны в общем ходе гражданской войны в России. Мы далеки от мысли видеть в конкретной оценке тех или иных партизанских выступлений вопрос *направления* в социал-демократии. Но мы видим свою задачу в том, чтобы помочь по мере сил правильной *теоретической* оценке новых форм борьбы, выдвигаемых жизнью; — в том, чтобы бороться беспощадно с шаблонами и предрассудками, мешающими сознательным рабочим правильно поставить новый и трудный вопрос, правильно подойти к его разрешению.

О ЛОЗУНГЕ „РАЗОРУЖЕНИЯ“[5].

В целом ряде стран, преимущественно маленьких и стоящих в стороне от теперешней войны, например, в Швеции, Норвегии, Голландии, Швейцарии, раздаются голоса в пользу замены старого пункта с.-д. программы-минимум: „милиция“ или „вооружение народа“ — новым: „разоружение“. В органе международной организации молодежи „Jugend-Internationale („Интернационал молодежи“) помещена в № 3 редакционная статья за разоружение. В „тезисах“ Р. Гримма по военному вопросу, составленных для съезда швейцарской с.-д. партии, находим уступку идее „разоружения“. В швейцарском журнале „Neues Leben“ („Новая Жизнь“) за 1915 г. Роланд-Гольст выступает якобы за „примирение“ обоих требований, на деле за такую же уступку. В органе международной левой „Vorbot“ („Предвестник“) помещена в № 2 статья голландского марксиста Вейнкопа за старое требование вооружения народа. Скандинавские левые, как видно из печатаемых ниже статей, принимают „разоружение“, признавая иногда, что в нем есть элемент пацифизма.

Присмотримся к позиции защитников разоружения.

I.

Одной из основных посылок в пользу разоружения является не всегда высказываемое прямо соображение: мы против войны, а самое определенное, ясное, недвусмысленное выражение этого нашего взгляда и есть требование разоружения.

На неправильности этого соображения мы остановились в статье о брошюре Юниуса,[6] куда и отсылаем читателя. Социалисты не могут быть против всякой войны, не переставая быть социалистами. Нельзя давать себя ослеплять теперешней империалистской войной. Для империалистской эпохи типичны именно такие войны между „великими" державами, но вовсе не невозможны демократические войны и восстания, например, угнетенных наций против угнетающих их за освобождение от гнета. Неизбежны гражданские войны пролетариата против буржуазии за социализм. Возможны войны победившего социализма в одной стране против других, буржуазных или реакционных стран.

Разоружение есть идеал социализма. В социалистическом обществе не будет войн, следовательно, осуществится разоружение. Но тот не социалист, кто ждет осуществления социализма *помимо* социальной революции и диктатуры пролетариата. Диктатура есть государственная власть, опирающаяся непосредственно на *насилие*. Насилие в эпоху XX века, — как и вообще в эпоху цивилизации, — это не кулак и не дубина, а *войско*. Поставить в программу „разоружение", — значит сказать вообще: мы против применения оружия. В этом так же нет ни грани марксизма, как если бы мы сказали: мы против применения насилия!

Заметим, что международная дискуссия по данному вопросу велась, главным образом, если не исключительно, на немецком языке. А по-немецки употребляются два слова, различие между которыми не легко передать по-русски. Одно значит собственно „разоружение" и употребляется, например, Каутским и каутскианцами в смысле сокращения вооружений. Другое значит собственно „обезоружение" и употребляется преимущественно левыми в смысле отмены милитаризма, отмены всякой милитаристской (военной) системы. Мы говорим в этой статье о *втором*, обычном среди некоторых *революционных* с.-д. требований.

Каутскианская проповедь „разоружения“, обращенная именно к теперешним правительствам империалистских великих держав, есть полнейший оппортунизм, буржуазный пацифизм, служащий на *деле* — вопреки „благим пожеланиям“ сладеньких каутскианцев — отвлечению рабочих от революционной борьбы. Ибо рабочим внушается подобной проповедью та мысль, будто теперешние буржуазные правительства империалистских держав не опутаны тысячами нитей финансового капитала и десятками или сотнями соответственных (т.-е. грабительских, разбойничьих, готовящих империалистскую войну) *тайных договоров* между собою.

II.

Угнетенный класс, который не стремится к тому, чтобы научиться владеть оружием, иметь оружие, заслуживал бы лишь того, чтобы с ним обращались, как с рабами. Не можем же мы, не превращаясь в буржуазных пацифистов или оппортунистов, забыть, что мы живем в классовом обществе и что из него нет и не может быть иного выхода, кроме классовой борьбы и свержения власти господствующего класса.

Во всяком классовом обществе, — будь оно основано на рабстве, крепостничестве, или, как теперь, на наемном труде, — угнетающий класс будет вооруженным. Не только теперешнее постоянное войско, но и теперешняя милиция — даже в самых демократических буржуазных республиках, например, в Швейцарии, — есть вооружение буржуазии *против* пролетариата. Это — такая элементарная истина, что особенно останавливаться на ней едва ли есть надобность. Достаточно напомнить употребление войска (республиканско-демократической милиции в том числе) против стачечников, явление, общее всем без исключения капиталистическим странам. Вооружение буржуазии против пролетариата есть один из самых крупных, основных, важнейших фактов современного капиталистического общества.

И перед лицом такого факта революционным с.-д. предлагают, чтобы они выставили „требование“ „разоружения“! Это равносильно полному отказу от точки зрения классовой борьбы, отречению от всякой мысли о революции. Нашим лозунгом должно быть: вооружение пролетариата для того, чтобы победить, экспроприировать и обезоружить буржуазию. Это — единственно возможная тактика революционного класса, так-

тика, вытекающая из всего *объективного развития* капиталистического милитаризма, предписываемая этим развитием. Лишь *после* того, как пролетариат обезоружит буржуазию, он может, не изменяя своей всемирно-исторической задаче, выбросить на слом всякое вообще оружие, и пролетариат, несомненно, сделает это, но только тогда, никоим образом не раньше.

Если теперешняя война вызывает у реакционных христианских социалистов, у плаксивых мелких буржуа *только* ужас и запуганность, только отвращение ко всякому употреблению оружия, к крови, к смерти и пр., то мы должны сказать: капиталистическое общество было и всегда является *ужасом без конца*. И если теперь этому обществу настоящая реакционнейшая из всех войн подготовляет *конец с ужасом*, то мы не имеем никаких оснований приходить в отчаяние. А не чем иным, как проявлением именно отчаяния, является, по своему объективному значению, „требование" разоружения — вернее сказать: мечтание о разоружении в такое время, когда на глазах у всех силами самой буржуазии подготовляется единственно законная и революционная война, именно: гражданская война против империалистской буржуазии.

Кто скажет, что это оторванная от жизни теория, тому мы напомним два всемирно-исторических факта: роль трестов и фабричной работы женщин, с одной стороны, Коммуну 1871 г. и декабрьское восстание 1905 г. в России, с другой.

Дело буржуазии — развивать тресты, загонять детей и женщин на фабрики, мучить их там, развращать, осуждать на крайнюю нужду. Мы не „требуем" такого развития, не „поддерживаем" его, мы боремся против него. Но как боремся? Мы знаем, что тресты и фабричная работа женщин прогрессивны. Мы не хотим итти назад, к ремеслу, к домонополистическому капитализму, к домашней работе женщин. Вперед через тресты и пр. и дальше них к социализму!

Это рассуждение, учитывающее *объективный ход* развития, применимо, с соответствующими изменениями, и к теперешней милитаризации народа. Сегодня империалистская буржуазия милитаризует не только весь народ, но и молодежь. Завтра она приступит, пожалуй, к милитаризации женщин. Мы должны сказать по поводу этого: тем лучше! Скорее вперед! Чем скорее, тем ближе к вооруженному восстанию против капита-

лизма! Как могут с.-д. давать себя запугать милитаризацией молодежи и т. п., если они не забывают примера Коммуны? Это не „оторванная от жизни теория“, не мечта, а факт. И было бы поистине совсем уже плохо, если бы с.-д. вопреки всем экономическим и политическим фактам, начали сомневаться в том, что империалистская эпоха и империалистские войны неизбежно должны вести к повторению таких фактов.

Один буржуазный наблюдатель Коммуны писал в мае 1871 г. в одной английской газете: „Если бы французская нация состояла только из женщин, какая это была бы ужасная нация“! Женщины и дети с 13 лет боролись во время Коммуны на ряду с мужчинами. Иначе не может быть и при грядущих битвах за низвержение буржуазии. Пролетарские женщины не будут смотреть пассивно, как хорошо вооруженная буржуазия будет расстреливать плохо вооруженных или невооруженных рабочих. Они возьмутся за оружие, как в 1871 году, и из теперешних запуганных наций — вернее: из теперешнего рабочего движения, дезорганизованного более оппортунистами, чем правительствами, — вырастет, несомненно, рано или поздно, но абсолютно несомненно, интернациональный союз „ужасных наций“ революционного пролетариата.

Теперь милитаризация проникает собой всю общественную жизнь. Империализм есть ожесточенная борьба великих держав за раздел и передел мира, — он неизбежно должен поэтому вести к дальнейшей милитаризации во всех странах, и в нейтральных, и в маленьких. Что же будут делать против этого пролетарские женщины? Только проклинать всякую войну и все военное, только требовать разоружения? Никогда женщины угнетенного класса, который действительно революционен, не помирятся с такой позорной ролью. Они будут говорить своим сыновьям:

— „Ты вырастешь скоро большой. Тебе дадут ружье. Бери его и учись хорошенько военному делу. Эта наука необходима для пролетариев — не для того, чтобы стрелять против твоих братьев, рабочих других стран, как это делается в теперешней войне и как советуют тебе делать изменники социализма, — а для того, чтобы бороться против буржуазии своей собственной страны, чтобы положить конец эксплуатации, нищете и войнам не путем добреньких пожеланий, а путем победы над буржуазией и обезоружения ее“.

Если отказаться от ведения такой пропаганды и именно такой пропаганды в связи с теперешней войной, то лучше вовсе не говорить больших слов о международной революционной с.-д., о социалистической революции, о войне против войны.

III.

Сторонники разоружения выступают против программного пункта „вооружения народа“ между прочим потому, что это последнее требование будто бы легче ведет к уступкам оппортунизму. Мы рассмотрели выше самое важное: отношение разоружения к классовой борьбе и к социальной революции. Рассмотрим теперь вопрос об отношении требования разоружения к оппортунизму. Одной из важнейших причин неприемлемости этого требования является именно то, что оно и порождаемые им иллюзии неизбежно ослабляют и обессиливают нашу борьбу с оппортунизмом.

Нет сомнения, эта борьба — главный очередной вопрос Интернационала. Борьба против империализма, не связанная неразрывно с борьбой против оппортунизма, есть пустая фраза или обман. Один из главных недостатков Циммервальда и Кинталя, одна из основных причин возможного фиаско (неудачи, краха) этих зародышей III Интернационала состоит как раз в том, что вопрос о борьбе с оппортунизмом не был даже поставлен открыто, не говоря уже о решении его в смысле необходимости разрыва с оппортунистами. Оппортунизм победил — на время — внутри европейского движения. Во всех крупнейших странах образовалось два главных оттенка оппортунизма: во-первых, откровенный, циничный и поэтому менее опасный социал-империализм господ Плехановых, Шейдеманов, Легинов, Альберов Тома и Самба, Вандервельдов, Гайндманов, Гендерсонов и проч. Во-вторых, прикрытый каутскианский: Каутский-Гаазе и „с.-д. трудовая группа“ в Германии; Лонгэ, Прессман, Майерас и пр. во Франции; Рамсэй Макдональд и другие вожди „Незав. Раб. Партии“ в Англии; Мартов, Чхеидзе и пр. в России; Тревес и др. так называемые левые реформисты в Италии.

Откровенный оппортунизм открыто и прямо против революции и против начинающихся революционных движений и взрывов, в прямом союзе с правительствами, как бы ни были

различны формы этого союза, начиная от участия в министерстве и кончая участием в военно-промышленных комитетах. Прикрытые оппортунисты, каутскианцы, гораздо вреднее и опаснее для рабочего движения, потому что они прячут свою защиту союза с первым при помощи благовидно звучащих тоже „марксистских“ словечек и пацифистских лозунгов. Борьба против этих обеих форм господствующего оппортунизма должна быть проведена на *всех* поприщах пролетарской политики: парламентаризм, проф. союзы, стачки, военное дело и т. д.

В чем же состоит главная особенность, отличающая *обе* эти формы господствующего оппортунизма?

В том, что замалчивается, прикрывается или трактуется с оглядкой на полицейские запреты конкретный вопрос *о связи теперешней войны с революцией и другие конкретные вопросы революции.* И это — несмотря на то, что перед войной бесчисленное количество раз указывалось на связь именно *этой* грядущей войны с пролетарской революцией и неофициально, и в базельском манифесте официально.

Главный же недостаток требования разоружения состоит именно в том, что здесь обходятся все конкретные вопросы революции. Или сторонники разоружения стоят за совершенно новый вид безоружной революции?

IV.

Далее. Мы никоим образом не против борьбы за реформы. Мы не хотим игнорировать той печальной возможности, что человечество переживет — на худой конец — еще вторую империалистическую войну, если революция не вырастет из данной войны, несмотря на многочисленные взрывы массового брожения и массового недовольства и несмотря на наши усилия. Мы сторонники такой программы реформ, которая *тоже* должна быть направлена против оппортунистов. Оппортунисты были бы только рады, если бы мы предоставили им одним борьбу за реформы, а сами удалились в заоблачные выси какого-нибудь „разоружения“, спасаясь бегством из печальной действительности. „Разоружение“ есть именно бегство из скверной действительности, а вовсе не борьба против нее.

Кстати: один из крупных недостатков в постановке вопроса, напр., о защите отечества у некоторых левых состоит в недо-

статочной конкретности ответа. Гораздо вернее теоретически и неизмеримо важнее практически сказать, что в *данной* империалистской войне защита отечества есть буржуазно-реакционный обман, чем выдвинуть „общее“ положение против „всякой“ защиты отечества. Это и неверно, и не „бьет“ непосредственного врага внутри рабочих партий: оппортунистов.

По вопросу о милиции мы должны были бы сказать, вырабатывая конкретный и практически необходимый ответ: мы не за буржуазную милицию, а только за пролетарскую. Поэтому „ни одного гроша и ни одного человека“ не только на постоянное войско, но и на буржуазную милицию, даже в таких странах, как С. Штаты или Швейцария, Норвегия и т. п. Тем более, что мы видим в самых свободных республиканских странах (напр., в Швейцарии) все большее и большее опрусачение милиции, проституирование ее для мобилизации войска против стачечников. Мы можем требовать: выбора офицеров народом, отмены всякой военной юстиции, уравнение в правах заграничных рабочих и туземных (особенно важный пункт для тех империалистических государств, которые, подобно Швейцарии, все в большем числе и все бесстыднее эксплоатируют иностранных рабочих, оставляя их бесправными); далее: права каждой, скажем, сотни жителей данной страны образовывать свободные союзы для изучения всего военного дела, со свободным выбором инструкторов, с оплатой их труда на казенный счет и т. д. Только при таких условиях пролетариат мог бы изучить военное дело действительно для *себя*, а не для своих рабовладельцев, и такого изучения безусловно требуют интересы пролетариата. Русская революция доказала, что всякий успех, хотя бы даже и частичный успех революционного движения, — напр., завоевание известного города, известного фабричного поселка, известной части армии, — неизбежно *заставит* победивший пролетариат осуществить именно такую программу.

Наконец, с оппортунизмом нельзя бороться, само собой разумеется, посредством одних программ, а только посредством неуклонного наблюдения за тем, чтобы они действительно проводились в жизнь. Самая крупная, роковая ошибка обанкротившегося II Интернационала состояла в том, что слово не соответствовало делу, что воспитывалась привычка к бессовестной революционной фразе (см. теперешнее отношение Каут-

ского и К° к Базельскому манифесту). Подходя с этой стороны к требованию разоружения, мы должны прежде всего поставить вопрос об его *объективном* значении. Разоружение, как социальная идея, — т.-е. такая, которая порождается известной социальной обстановкой и может действовать на известную социальную среду, а не остается личной или кружковой причудой, — порождена, очевидно, особыми, в виде исключения „спокойными" условиями жизни отдельных мелких государств, которые стояли довольно долгое время в сторонке от кровавой мировой дороги войн и надеются так и остаться в сторонке. Чтобы убедиться в этом, достаточно вдуматься, напр., в аргументацию норвежских сторонников разоружения: „мы де страна маленькая, войско у нас маленькое, мы ничего не можем поделать против великих держав" (а поэтому также бессильны против насильственного вовлечения в империалистский *союз* с той или иной группой великих держав!), „мы хотим остаться в покое в своем уголке-захолустьи и продолжать вести захолустную политику, требовать разоружения, обязательных третейских судов, постоянной нейтральности и т. п." („постоянной" — должно быть в роде бельгийской?).

Мелкое стремление мелких государств остаться в сторонке, мелко-буржуазное желание быть подальше от великих битв мировой истории, использовать свое сравнительно-монопольное положение для пребывания в заскорузлой пассивности — вот *объективная* общественная обстановка, которая может обеспечивать идее разоружения известный успех и известное распространение в некоторых маленьких государствах. Разумеется, это стремление реакционно и покоится сплошь на иллюзиях, ибо империализм так или иначе втягивает мелкие государства в водоворот всемирного хозяйства и мировой политики.

Поясним это на примере Швейцарии. Ее империалистская обстановка объективно предписывает ей *две* линии рабочего движения. Оппортунисты стремятся в союзе с буржуазией к тому, чтобы сделать из Швейцарии республикански-демократический монопольный союз для получения прибыли от туристов империалистской буржуазии, и чтобы это „спокойное" монопольное положение использовать как можно выгоднее и как можно спокойнее. На деле эта политика есть политика союза небольшого привилегированного слоя рабочих неболь-

шой, поставленной в привилегированное положение, страны с буржуазией своей страны *против* масс пролетариата. Действительные с.-д. Швейцарии стремятся к тому, чтобы использовать сравнительную свободу Швейцарии, ее „международное“ положение (соседство наиболее высококультурных стран), затем то обстоятельство, что Швейцария говорит, слава богу, не на „своем самостоятельном“ языке, а на трех мировых языках, для расширения, укрепления *революционного* союза революционных элементов пролетариата всей Европы. Поможем своей буржуазии удержаться подольше в монопольном положении архи-спокойной торговли прелестями Альп, авось нам тоже перепадет копеечка — вот *объективное* содержание политики швейцарских оппортунистов. Поможем союзу революционного пролетариата среди французов, немцев, итальянцев для свержения буржуазии, — вот объективное содержание политики швейцарских революционных с.-д. К сожалению, эта политика проводится „левыми“ в Швейцарии далеко еще недостаточно, и прекрасное решение съезда их партии в Аарау 1915 года (признание революционной массовой борьбы) остается пока больше на бумаге. Но речь идет у нас сейчас не об этом.

Интересующий нас сейчас вопрос стоит так: соответствует ли требование разоружения революционному направлению среди швейцарских с.-д.? Очевидно, нет. Объективно, „требование“ разоружения соответствует оппортунистической, узко-национальной, ограниченной кругозором маленького государства, линии рабочего движения. Объективно, „разоружение“ есть самая национальная, специфически-национальная программа мелких государств, отнюдь не интернациональная программа интернациональной революционной с.-д.

В последнем номере английского „Социалистического Обозрения“ — „The Socialist Review“ (сент. 1916), органа оппортунистической „Независимой Рабочей Партии“, мы находим, на стр. 287, резолюцию Ньюкастльской конференции этой партии: отказ от поддержки *какой бы то ни было* войны со стороны *какого бы то ни было* правительства, хотя бы „номинально“ это и была война „оборонительная“. А на стр. 205 встречаем следующее заявление в редакционной статье: „Мы

не одобряем восстания син-фениев“ (ирландского восстания 1916 года). „Мы не одобряем никакого вооруженного восстания, как не одобряем мы никакой другой формы милитаризма и войны“.

Надо ли доказывать, что *эти* „антимилитаристы“, подобные сторонники разоружения не в маленькой, а в большой державе, суть злейшие оппортунисты? А ведь теоретически они вполне правы, когда рассматривают вооруженное восстание тоже как „одну из форм“ милитаризма и войны.

ПРОЛЕТАРИАТ У ВЛАСТИ И ВОЙНА. [7]

На вопрос, что бы сделала партия пролетариата, если бы революция поставила ее у власти в теперешней войне, мы отвечаем: мы предложили бы мир *всем* воюющим, на условии освобождения колоний и *всех* зависимых, угнетенных и неполноправных народов. Ни Германия, ни Англия с Францией не приняли бы, при теперешних правительствах их, этого условия. Тогда мы должны были бы подготовить и повести революционную войну, т.-е. не только полностью провели бы, самыми решительными мерами, всю нашу программу-минимум, но и систематически стали бы подымать на восстание все ныне угнетенные великороссами народы, все колонии и зависимые страны Азии (Индию, Китай, Персию и пр.), а также — и в первую голову — поднимали бы на восстание социалистический пролетариат Европы против его правительств и вопреки его социал-шовинистам. Не подлежит никакому сомнению, что победа пролетариата в России дала бы необыкновенно благоприятные условия для развития революции и в Азии, и в Европе. Это доказал *даже* 1905 г. А международная солидарность революционного пролетариата есть *факт* вопреки грязной пене оппортунизма и социал-шовинизма.

МАРКСИЗМ И ВОССТАНИЕ. [8]

Письмо в ЦК РСДРП (б).

К числу наиболее злостных и едва ли не наиболее распространенных извращений марксизма господствующими „социалистическими“ партиями принадлежит оппортунистическая ложь,

будто подготовка восстания, вообще отношение к восстанию, как искусству, есть „бланкизм“.

Вождь оппортунизма, Бернштейн, уже снискал себе печальную славу обвинением марксизма в бланкизме, и нынешние оппортунисты, в сущности, ни на иоту не подновляют и не „обогащают“ скудные „идеи“ Бернштейна, крича о бланкизме.

Обвинять в бланкизме марксистов за отношение к восстанию, как к искусству! Может ли быть более вопиющее извращение истины, когда ни один марксист не отречется от того, что именно Маркс самым определенным, точным и непререкаемым образом высказался на этот счет, назвав восстание именно *искусством,* сказав, что к восстанию надо относиться как к искусству, что надо *завоевать* первый успех и от успеха итти к успеху, не прекращая *наступления* на врага, пользуясь его растерянностью и т. д., и т. д.

Восстание, чтобы быть успешным, должно опираться не на заговор, не на партию, а на передовой класс. Это во-первых. Восстание должно опираться на революционный подъем народа. Это во-вторых. Восстание должно опираться на такой *переломный пункт* в истории нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая, когда всего сильнее *колебания* в рядах врагов и в *рядах слабых, половинчатых, нерешительных друзей революции.* Это в-третьих. Вот этими тремя условиями постановки вопроса о восстании отличается *марксизм* от *бланкизма.*

Но раз есть налицо эти условия, то отказаться от отношения к восстанию, как к *искусству,* значит изменить марксизму и изменить революции.

Чтобы доказать, почему именно переживаемый нами момент надо признать таким, когда *обязательно* для партии признать *восстание* поставленным ходом объективных событий в порядке дня и отнестись к восстанию, как к искусству, чтобы доказать это, лучше всего, пожалуй, употребить метод сравнения и сопоставить 3—4 июля [9] с сентябрьскими днями.

3—4 июля можно было, не греша против истины, поставить вопрос так: правильнее было бы взять власть, ибо иначе все равно враги обвинят нас в восстании и расправятся, как с повстанцами. Но из этого нельзя было сделать вывода в пользу взятия власти тогда, ибо объективных условий для победы восстания тогда не было.

1) Не было еще за нами класса, являющегося авангардом революции.

Не было еще большинства у нас среди рабочих и солдат столиц. Теперь оно есть в обоих Советах. Оно создано *только* историей июля и августа, опытом „расправы“ с большевиками и опытом корниловщины.

2) Не было тогда всенародного революционного подъема. Теперь он есть после корниловщины. Провинция и взятие власти Советами во многих местах доказывают это.

3) Не было тогда *колебаний*, в серьезном общеполитическом масштабе, среди врагов наших и среди половинчатой мелкой буржуазии. Теперь колебания гигантские: наш главный враг, империализм союзный и всемирный, ибо „союзники“ стоят во главе всемирного империализма, *заколебался* между войной до победы и сепаратным миром против России. Наши мелкобуржуазные демократы, явно потеряв большинство в народе, заколебались гигантски, отказавшись от блока, т.-е. от коалиции с кадетами.

4) Потому 3—4 июля восстание было бы ошибкой: мы не удержали бы власти ни физически, ни политически. Физически, несмотря на то, что Питер был моментами в наших руках, ибо *драться, умирать* за обладание Питером наши же рабочие и солдаты тогда не стали бы: не было такого „озверения“, такой кипучей ненависти и к Керенским, и к Церетели-Черновым, не были еще наши люди закалены опытом преследования большевиков при участии эс-эров и м-ков.

Политически мы не удержали бы власти 3—4 июля, ибо армия и провинция, *до корниловщины*, могли пойти и пошли бы на Питер.

Теперь картина совсем иная.

За нами большинство *класса*, авангарда революции, авангарда народа, способного увлечь массы.

За нами *большинство* народа, ибо уход Чернова есть далеко не единственный, но виднейший, нагляднейший признак того, что крестьянство от блока эс-эров (и от самих эс-эров) *земли не получит*. А в этом гвоздь общенародного характера революции.

За нами выгода положения партии, твердо знающей свой путь, при неслыханных колебаниях и *всего империализма*, и всего блока м-ков с эс-эрами.

За нами *верная победа,* ибо народ совсем уже близок к отчаянию, а мы даем всему народу верный выход, показав значение нашего руководства всему народу „в дни корниловские", затем *предложив* компромисс блокистам *и получив отказ от них* при условии отнюдь не прекращающихся колебаний с их стороны.

Величайшей ошибкой было бы думать, что наше предложение компромисса *еще* не отвергнуто, что „Демократическое совещание" *еще* может принять его. Компромисс предлагался *от партии к партиям;* иначе он не мог предлагаться. *Партии* отвергли его. Демократическое совещание есть только *совещание,* ничего более. Не надо забывать одного: в нем не представлено *большинство* революционного народа, беднейшее и озлобленное крестьянство. Это совещание *меньшинства народа,*— нельзя забывать этой очевидной истины. Величайшей ошибкой, величайшим парламентским кретинизмом было бы с нашей стороны отнестись к Демократическому совещанию, как к парламенту, ибо даже *если бы* оно объявило себя парламентом и суверенным парламентом революции, все равно оно ничего *не решает:* решение лежит *вне его,* в рабочих кварталах Питера и Москвы.

Перед нами налицо все объективные предпосылки успешного восстания. Перед нами — исключительные выгоды положения, когда *только* наша победа в восстании положит конец измучившим народ колебаниям, этой самой мучительной вещи на свете; когда *только наша* победа в восстании *сорвет* игру с сепаратным миром против революции,— сорвет ее тем, что предложит открыто мир более полный, более справедливый, более близкий, мир в *пользу* революции.

Только наша партия, наконец, победив в восстании, *может* спасти Питер, ибо, если наше предложение мира будет отвергнуто и мы не получим даже перемирия, тогда мы становимся „оборонцами", тогда мы становимся *во главе военных партий,* мы будем *самой „военной"* партией, мы поведем войну действительно революционно. Мы отнимем весь хлеб и все сапоги у капиталистов. Мы оставим им корки, мы оденем их в лапти. Мы дадим весь хлеб и всю обувь на фронт.

И мы отстоим тогда Питер.

Ресурсы действительно революционной войны, как материальные, так и духовные, в России еще необъятно велики;

99 шансов из 100 за то, что немцы дадут нам по меньшей мере перемирие. А получить перемирие теперь — это значит уже победить *весь мир*.

Сознав безусловную необходимость восстания рабочих Питера и Москвы для спасения революции и для спасения от „сепаратного“ раздела России империалистами обеих коалиций, мы должны, во-первых, приспособить к условиям нарастающего восстания свою политическую тактику на Совещании; мы должны, во-вторых, доказать, что мы не на словах только признаем мысль Маркса о необходимости отнестись к восстанию, как к искусству.

Мы должны на Совещании немедленно сплотить фракцию большевиков, не гоняясь за численностью, не боясь оставить колеблющихся в стане колеблющихся: они *там* полезнее для дела революции, чем в стане решительных и беззаветных борцов.

Мы должны составить краткую декларацию большевиков, подчеркивая самым резким образом неуместность длинных речей, неуместность „речей“ вообще, необходимость немедленного действия для спасения революции, абсолютную необходимость полного разрыва с буржуазией, полного смещения всего теперешнего правительства, полного разрыва с готовящими „сепаратный“ раздел России англо-французскими империалистами, необходимость немедленного перехода всей власти в руки *революционной демократии, возглавляемой революционным пролетариатом*.

Наша декларация должна быть самой краткой и резкой формулировкой этого вывода в связи с программными проектами: мир народам, земля крестьянам, конфискация скандальных прибылей и обуздание скандальной порчи производства капиталистами.

Чем короче, чем резче будет декларация, тем лучше. В ней надо только ясно указать еще два важнейших пункта: народ измучился от колебаний, народ истерзан нерешительностью эс-эров и меньшевиков; мы рвем с этими *партиями* окончательно, ибо они изменили революции.

И другое: тотчас предлагая мир без аннексий, тотчас разрывая с союзными империалистами и всякими империалистами,

мы получим немедленно либо перемирие, либо переход всего революционного пролетариата на сторону обороны и ведение революционной демократией, под его руководством, действительно справедливой, действительно революционной войны.

Прочтя эту декларацию, призвав *решать*, а не говорить, *действовать*, а не писать резолюции, мы должны всю нашу фракцию *двинуть* на *заводы* и в *казармы:* там ее место, там нерв жизни, там источник спасения революции, там двигатель Демократического совещания.

Там должны мы в горячих, страстных речах разъяснять нашу программу и ставить вопрос так: либо *полное* принятие ее Совещанием, либо восстание. Середины нет. Ждать нельзя. Революция гибнет.

Ставя вопрос так, сосредоточив всю фракцию на заводах и в казармах, мы *правильно учтем момент для начала восстания.*

А чтобы отнестись к восстанию по-марксистски, т.-е. как к искусству, мы в то же время, не теряя ни минуты, должны организовать *штаб* повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александринку, [10] занять Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правительство, послать к юнкерам и к дикой дивизии такие отряды, которые способны погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центрам города; мы должны мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить *наш* штаб восстания у центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы и т. д.

Это все примерно, конечно, лишь для *иллюстрации* того, что нельзя в переживаемый момент остаться верным марксизму, остаться верным революции, *не относясь к восстанию, как к искусству.*

СОВЕТЫ ПОСТОРОННЕГО. [11]

Я пишу эти строки 8 октября и мало надеюсь, чтобы они уже 9-го были в руках питерских товарищей. Возможно, что они опоздают, ибо съезд северных Советов назначен на 10 октября. Но все-таки я попытаюсь выступить со своими

советами постороннего на тот случай, что вероятное выступление рабочих и солдат Питера и всей „округи“ состоится вскоре, но еще не состоялось.

Что вся власть должна перейти к Советам, это ясно. Так же бесспорно должно быть для всякого большевика, что революционно-пролетарской (или большевистской—это теперь одно и то же) власти обеспечено величайшее сочувствие и беззаветная поддержка всех трудящихся и эксплуатируемых во всем мире вообще, в воюющих странах в частности, среди русского крестьянства в особенности. На этих, слишком общеизвестных и давно доказанных, истинах не стоит останавливаться.

Остановиться надо на том, что едва ли вполне ясно всем товарищам, именно: что переход власти к Советам означает теперь на практике вооруженное восстание. Казалось бы, это очевидно, но не все в это вдумались и вдумываются. Отрекаться теперь от вооруженного восстания значило бы отречься от главного лозунга большевизма (вся власть Советам) и от всего революционно-пролетарского интернационализма вообще.

Но вооруженное восстание есть особый вид политической борьбы, подчиненный особым законам, в которые надо внимательно вдуматься. Замечательно рельефно выразил эту истину Карл Маркс, [12] писавший, что вооруженное „*восстание, как и война, есть искусство*“.

Из главных правил этого искусства Маркс выставил:

1) Никогда *не играть* с восстанием, а, начиная его, знать твердо, что надо *итти до конца*.

2) Необходимо собрать *большой перевес сил* в решающем месте, в решающий момент, ибо иначе неприятель, обладающий лучшей подготовкой и организацией, уничтожит повстанцев.

3) Раз восстание начато, надо действовать с величайшей *решительностью* и непременно, безусловно переходить *в наступление*. „Оборона есть смерть вооруженного восстания“.

4) Надо стараться захватить врасплох неприятеля, уловить момент, пока его войска разбросаны.

5) Надо добиваться *ежедневно* хотя маленьких успехов (можно сказать ежечасно, если дело идет об одном городе), поддерживая во что бы то ни стало „*моральный перевес*“.

Маркс подытожил уроки всех революций относительно вооруженного восстания словами „величайшего в истории ма-

стера революционной тактики — Дантона: смелость, смелость и еще раз смелость".

В применении к России и к октябрю 1917 года это значит: одновременное, возможно более внезапное и быстрое наступление на Питер, непременно и извне и изнутри, и из рабочих кварталов, и из Финляндии, и из Ревеля, из Кронштадта, наступление *всего* флота, скопление *гигантского перевеса* сил над 15 — 20 тыс. (а может и больше) нашей „буржуазной гвардии" (юнкеров), наших „вандейских войск" (часть казаков) и т. д.

Комбинировать наши три главные силы: флот, рабочих и войсковые части так, чтобы непременно были заняты и ценой *каких угодно потерь* были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) жел.-дор. станции, г) мосты в первую голову.

Выделить *самые решительные* элементы (наших „ударников" *и рабочую молодежь,* а равно лучших матросов) в небольшие отряды для занятия ими всех важнейших пунктов и *для участия* их везде, во всех важных операциях, напр.:

Окружить и отрезать Питер, взять его комбинированной атакой флота, рабочих и войск, — такова задача, требующая *искусства и тройной смелости.*

Составить отряды наилучших рабочих с ружьями и бомбами для наступления и окружения „центров" врага (юнк. школы, телеграфа и телефона и прочее) с лозунгом *погибнуть всем, но не пропустить неприятеля.*

Будем надеяться, что, в случае, если выступление будет решено, руководители успешно применят великие заветы Дантона и Маркса.

Успех и русской, и всемирной революции зависит от 2 — 3 дней борьбы.

ПРИМЕЧАНИЯ.

[1] Настоящая статья написана в сентябре 1906 г. и напечатана впервые в нелегальном большевистском журнале „Пролетарий" (№ 5, от 30/IX 1906 г.). Она сохранила все свое значение до настоящего времени, и опыт нашей гражданской войны, в которой партизанщина пережила самые разнообразные формы, а в махновщине из революционной превратилась в контр-революционную, — этот опыт подтвердил все основные положения статьи.

[2] Дальнейший исторический опыт показал, что европейские с.-д. типа Каутского уже тогда неспособны были к действительно революционным методам борьбы и признавали их только на словах.

[3] „Пепеэсовская“ организация — организация революционно-националистской партии P. P. S. („польская социалист. партия“), увлекавшейся в то время террористической и экспроприаторской тактикой. Во главе ее боевой организации стоял нынешний „диктатор“ Польши — Пилсудский. Марксистское крыло этой партии после мировой войны слилось с польскими с.-д., образовав польскую коммунистическую партию.

[4] „Объединительный“ съезд — это 4-й (Стокгольмский) съезд партии, на котором преобладали меньшевики.

[5] Статья напечатана в октябре 1916 г. в сборнике „Соц.-демократ“, № 2, и направлена против пацифистских иллюзий и лозунгов многих „левых“ и даже действительно левых элементов тогдашней европейской с.-д.

[6] Брошюра, отражавшая взгляды самого революционного крыла тогдашних германских с.-д., из которого вышла организация „Спартак“, зародыш коммунистической партии. Под псевдонимом „Юниус“ писала Роза Люксембург.

[7] Этот отрывок является заключительной частью статьи „Несколько тезисов“, напечатанной 13 октября 1915 г. в № 47 центр. органа большевиков — „Соц.-демократ“. Он является поистине гениальным предвидением дальнейших событий, высказанным *в начале второго года войны*, т.-е. в эпоху самой мрачной реакции и в Европе и в России.

[8] Статья написана в сентябре 1917 г., после корниловщины и во время созыва „Демократического совещания“.

[9] „3 — 4 июля“ — вооруженная демонстрация рабочих, солдат и матросов в Петербурге, направленная против временного правительства и которую некоторые большевики советовали использовать для захвата власти. „Сентябрьские дни“ — корниловщина.

[10] „Александринка“ — бывший „императорский“ Александринский театр, где заседало „Демократическое совещание“.

[11] Написано, как видно из текста, 8/X 1917 г., т.-е. за 16 дней до Октябрьского переворота.

[12] Эти слова взяты из брошюры „Революция и контр-революция в Германии“, которая долгое время приписывалась Марксу, но как теперь известно, написана Энгельсом, конечно, в сотрудничестве с Марксом и под его общей редакцией.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

От редакции 3

Д. Б. Рязанов. — Военное дело и марксизм 5

Б. И. Горев. — Война, как социальное явление 24

Р. С. Циффер. — Тактика и техника 33

А. А. Свечин. — Эволюция стратегических теорий 54

М. Н. Тухачевский. — К вопросу о современной стратегии. (Заметки.) . 103

Приложение I. Маркс и Энгельс о войне и военном искусстве. (Избранные отрывки.) 136

Приложение II. Ленин о войне в связи с задачами революции. (Избранные статьи.) 177

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
ВОЕННЫЙ ОТДЕЛ
МОСКВА ЛЕНИНГРАД

МЕРИНГ, Ф.

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ВОЙНЫ И ВОЕННОГО ИСКУССТВА

Перев. с немецк. Под ред. и предисл. Н. Н. Попова.

Стр. 388. Ц. 1 р. 75 к.

История военного искусства. — Внешняя и военная политика Фридриха II. Иена и Тильзит. От Тильзита до Таурогена. От Калиша до Карлсбада. Милиция и постоянное войско. Пища для Молоха. Военно-исторические проблемы.

ПАВЛОВИЧ, М. (М. ВЕЛЬТМАН)

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том I

Империализм

Стр. 248. Ц. 1 р. 80 к.

Том II

Империализм и борьба за великие железнодорожные и морские пути

Стр. 256. Ц. 2 р. 20 к.

Том III

Борьба за Азию и Африку

Стр. 256. Ц. 2 р. 20 к.

Том V

Мировая война 1914—1918 гг. и грядущие войны

Стр. 341. Ц. 2 р. 20 к.

ЭНГЕЛЬС, Ф.

СТАТЬИ И ПИСЬМА ПО ВОЕННЫМ ВОПРОСАМ

Перевод с нем. Под ред., предисл. и примеч. Н. Н. Попова.

Стр. XIV + 368. Ц. 1 р.

Предисловие. — 1. Революция 1848 г. и ее поражение. 2. Восточная война 1853 — 1856 гг. 3. По и Рейн, Савойя и Рейн. 4. Развитие военного искусства в эпоху капитализма. 5. Письмо к Марксу. 6. Примечания.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
ВОЕННЫЙ ОТДЕЛ
МОСКВА ЛЕНИНГРАД

КАКУРИН, Н.

КАК СРАЖАЛАСЬ РЕВОЛЮЦИЯ

Том I. 1917—1918 гг. Под ред. Н. Н. Попова. Стр. 270.

Приложение: Де-Лазари, А. Гражданская война в России (в схемах). Вып. I.

Ц. с приложением и в пер. 4 р. 50 к.

Том II. 1919—1920 гг. Под ред. Р. П. Эйдемана. Стр. 428.

Приложение: Де-Лазари, А. Гражданская война в России (в схемах). Вып. II.

Ц. с приложениями и в пер. 5 р. 50 к.

ФРУНЗЕ, М. В.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. В 3-х ТОМАХ

Том I. (Печ.)

Том II. Стр. 8 + 323 + 4 карты + 3 портр. Ц. 2 р. 50 к.

Том III. Стр. 402 + 11 портр. и групп. Ц. 2 р. 50 к.

Первый том охватывает период 1918—1923 гг. Сюда вошли статьи и речи тов. Фрунзе во время пребывания его в Иваново-Вознесенской губ.; на южном фронте и в Турции.

Второй том охватывает период 1924 г. (важнейшие военные статьи, работа о мировой войне, вопросы высшего военного образования и т. д.).

Третий том заключает в себе речи и статьи тов. Фрунзе за 1925 г. Кроме военных статей и речей по военным вопросам сюда вошла также его речь о художественной литературе на заседании литературной комиссии ЦК ВКП (б).

БЛУМЕНТАЛЬ, Ф.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Вопросы боевой обстановки

Стр. 375. Ц. 2 р.